



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Д. Кулишъ

Дорна рада

PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*
1817

ARTES SCIENTIA VERITAS

124

Ч. 308.

124

ЧОРНА РАДА.

KULISH, PANTELEYMON ALEKSANDROVICH.

Хроника 1663 року.

Написавъ П. Кулишъ.

ВЫДАННЯ ДРУГЕ.



ОДЕССА.
Типографія Е. И. Фесенко, Ришельевская, с. д. № 47.
1901.



Дозволено цензурою. Москва, 13 сентября, 1900 года.



W. G. ...

89:758

K96 ch

1901

Глава перва.



о весни 1663-го року, двое подорожнихъ, верхы на добрыхъ коняхъ, избыжались до Кыива зъ Билогородського шляху. Одынъ бувъ молодой соби козакъ, збройный якъ до войны; другой, по одежи и по сывій бороди, сказать бы пипъ, а по шаблюци пидъ рясою, по пистоляхъ за поясомъ и по довгихъ шрамахъ на выду—старый козарлюга. Кони въ йихъ потомлени, одежда й торокы позапылювани: заразъ було знаты, що йидуть не зблызка.

Не дойиздячы верстовъ зо дви, чи зо тры до Кыива, взяли вони у ливу руку, да й побралысь гайемъ, по крывій дорижци. И хто тилько бачывъ, якъ вони съ поля повернули въ гай, усяке заразъ домыслалось, куды вони простують. Крыва дорижка вела до Череваневого хутора, Хмарыща. А Череванъ бувъ тяжко грошовытый да й веселый панъ изъ козацтва, що збагатылось за десятилитню войну зъ Ляхамы. Ричъ тутъ про Богдана Хмельныцького, якъ винъ рокивъ зъ десятокъ шарпавъ съ козакамы шляхетныхъ Ляхивъ и недоляшкивъ. Оттогди-то й Череванъ доскочывъ соби нещысленного скарбу, да послы войны и сивъ хуторомъ коло Кыива.

Було вже надъ вечиръ. Сонце свитыло стыха, безъ жары; и любо було поглянуты, якъ воно розливалось

по зеленыхъ витахъ, по суковатыхъ, мохнатыхъ дубахъ и по молодій травыци. Пташки спивалы и свыстали усюды по гаю такъ голосно да гарно, що все кругомъ неначе усмихалось. А подорожни булы якось смутныйи. Нихто бъ не сказавъ, що воны йидуть у гости до веселого пана Череваня.

Отъ же воны вже й пидъ Хмарыщемъ. А те Хмарыще було открыте гаямы, справди наче *хмарамы*. Кругомъ обняла його ричка, зъ зеленымы плавамы, лозамы й очеретамы. Черезъ ричку йшла до ворить гребелька. А ворота въ Череваня не прости, а державськыйи. Замисть ушуль, рублена башта, пидъ гонтовымъ щытомъ, и пидъ башту вже дубови ворота, густо одъ верху до низу цвяховани. Бувало тогда, у ту старовыну таке, що и въ-день и въ-ночи сподивайсь лыхого гостя—Татарына, або Ляха. Такъ надъ воритьмы у башти було й виконце, щобъ роздывытысь перше, чи впускать гостя до господы, чи ни. Надъ щытомъ—гостроверхый гребень изъ дубовыхъ паль, а округъ хутора—годящий валь.

Пидъйихавшы гости пидъ браму, почалы грукаты шаблею въ цвяхы. По гаю пишла луна, а въ хутори не озывавсь нихто; да вже нескоро хтось за воритьмы почавъ кашляты, и стало чуты, якъ щось, або старе, або недуже, беретця въ башти по сходахъ до виконця; лизе, да й гуторыть само зъ собою.

„Врагъ його“, каже, „знае, якый теперь людъ наставъ! Прийиде ка'зна що, ка'зна звидкы та й грукотыть, якъ ворить не разламле. А якъ-бы рокивъ пятнадцать, або двадцять назадъ! такъ усяке сыдило по Вкрайини тыхо та смирно, наче бжола въ зимовныку. Ге, то-то

бо!... якъ-бы вражи Ляхы, соби на лыхо, не потревожины козацького рою, то й доси бѣ, може, такъ бы сѣдили. Погано було за Ляхивѣ, та вже жѣ и наши гуляють не въ свою голову. Охъ Боже правый, Боже правый!“

„Се Васыль Невольныкъ“, каже тогди пинѣ. „Однаковый и доси“.

„Хто тамъ грукае, наче въ свои ворота?“ пытае Васыль Невольныкъ кризь виконце.

„Да годи тоби росщитувать!“ озався пинѣ. „Бачышь, що не Татаре, то и впускай“.

„Боже мій правый!“ ажъ скрыкнувъ Васыль Невольныкъ, „та се жѣ Паволоцькый Шрамъ!.. Не знаю жѣ, чи одчынять ворота, чи перше бигты до пана.“

„Одчыны перше ворота“, озався Шрамъ, „а потимъ бижи соби, куды хочъ“.

„Правда, правда, добродію мій любый!“ каже старый клюшныкъ, да й почавъ испускатыця у-нызъ, усе такы розмовляючы самъ изъ собою: „Гора зъ горою не зійдетця, а чоловикъ съ чоловикомъ зійдетця. Охъ, не думалы жѣ мойи стари очи вбачаты пана Шрама!“.

Отъ одчынылысь ворота. Полковныкъ Шрамъ изъ сыномъ (той молодой козакъ бувъ його сынъ) схыльвышысь и вѣйхалы. Васыль Невольныкъ, съ великою радости, не знавъ, що й робыты: кынувся до Шрама и поцеловавъ його въ колино.

Дали до сына: „Боже правый! та се жѣ твій Петрусь! Орель, а не козакъ!“.

Петро нагнувся изъ сидла и поцеловався изъ Васылемъ Невольныкомъ.

„Орель, а не козакъ!“ каже зновъ Васыль Неволь-

ныкъ. „Що, якъ-бы такыхъ друзякъ прыплыло хочъ дви чайкы до Кермана, якъ я пропадавъ тамъ у неволи? Охъ, Боже правый! далась мини та проклята неволя добре знаты, не забуду ти до вику!“.

Справди Васыль Невольныкъ бувъ соби дидусь такый мизерный, мовъ заравъ тилько зъ неволи выпущеный: невелычкый, похылый; очи йому позападали и наче до чого прыдывляютьця, а губы якось покрывылись, що ты бъ сказавъ—винъ изроду не сміявся. У сыньому жупанкови, у старыхъ полотняныхъ шароварахъ; да й те на йому було, мовъ позычене.

Петро, старого Шрама сынъ, скочывъ на землю и взявъ одъ пан'отця коня.

„Веды жъ насъ, Васылю, до пана“, каже полковныкъ Шрамъ. „Де винъ? чи въ свитлыци, чи въ пасици? У його здавна була охота до бжолы; такъ теперъ певно вже пасичныкуе“.

„Эге, добродію“, каже Васыль Невольныкъ, „благую часть избравъ соби панъ Черевань,—нехай його Господь на свити подержыть! Мало куды й выходыть изъ пасицы“.

„Ну, да все жъ одъ людей ище не одцурався? Чи, може, справди зробывсь пустынножителемъ?“

„Йому одъ людей одцуратысь!“ каже Васыль Невольныкъ. „Та йому й хлибъ не пйде въ душу, якъ-бы його люде покынулы. У насъ и теперъ не безъ гостей. Побачышь самъ, що въ насъ за гисть теперъ у Хмарыщи“.

Да одчынывши дидусь у пасику хвирточку, и повивъ Шрама по-пидъ деревомъ.

Що жь то бувъ за Шрамъ такой, и якъ се винъ бувъ разомъ пипъ и полковникъ?

Бувъ винъ сынъ Паволоцького попа, по призвыщу Чепурного, учывся въ Кывивській Братській школи, и вже самъ выйшовъ бувъ на попы. Якъ-же піднялись козаки зъ гетьманомъ Остряницею, то й винъ устрявъ до козацького війська; бо гарячий бувъ чоловікъ Шрамъ, и не всадивъ бы у свой парафыйи, чуючы, якъ ильетця ридна йому кровь за безбожный глумъ Польскыхъ консистентивъ и урядныкивъ надъ Украинцямы, за наругу католыкивъ и унытивъ надъ Греко-Руською вирую. Тогда бо дойшло безладде въ Польци до того, що робывъ усякий староста, усякий ротмыстръ, усякий значный чоловікъ, що йому въ божевильну голову прийде, а найбільшъ изъ народомъ неоружнымъ, зъ мищанамы и хлиборобамы, котори не малы жадного способу супротывъ його статы. Почалы жолнире, консистуючы въ городахъ и селахъ, беззаконни окормы и нащытки одъ людей вымагаты, — жинокъ да дивчатъ ковачыхъ, мищанськихъ и посполытыхъ безчестыть и мордоваты — людей середъ зими по ломкахъ льодовыхъ у плугъ запрягаты, а Жыдамъ приказувалы ихъ бычоваты й погамяты, щобъ, на одынъ смихъ и наругу, лидъ плугомъ оралы й рисовалы. А тымъ часомъ католицьки паны зъ нашымы перевертнями усыловувалысь унію на Вкрайни прыщепыты, и не въ одну церкву попомъ уныты, на огыду людямъ, поставылы; виру благочестыву мужыцькою вирую называлы, а оддаючы Жыдамъ у оренду села, не разъ изъ селамы й церквы йимъ на одкупъ оддавалы. И никому було на таки наругы жа-

ловатысь, бо й самого короля сенаторы, паны да бискупы у рукахъ держалы. Городова жъ козацька старшына за коронного гетьмана, за старостъ, за державцивъ и йихъ наместныкивъ и орандаривъ руку тягнула, а мижъ себе дилылась козацькою платою—по тридцяты злотыхъ на всякого реестрового, одъ короля и Речи Посполитої ¹⁾). То й реестровымъ, чи городовымъ козакамъ було тисно. Багато зъ ныхъ до пидданства старостамъ и державцямъ прыневолено; котори жъ осталысь реестровыми козаками, тыйи робылы въ своейи старшыны всяку роботу по дворахъ. Шість тысячь тилько йихъ оставлено у реестри, да й тыйи, бувшы въ великій неволи въ старшыны, тяглы хотя й нехотя за Ляхивъ руку и тилько вже пры Хмельницькому одностайне за Вкрайину повстали. Такъ якъ бы йимъ землякы у свойй тисноти й нуждахъ жаловалысь?... Жаловалысь мыряне и попы благочестывыйи тилько далекомъ своимъ землякамъ—козакамъ Запорозькымъ, котори, живучы въ дыкыхъ степахъ, за порогами, старшыну свою сами зъ себе выбиралы, и гетьману коронному узять себе за шыю не давалы. Отъ и выходылы зъ Запорожжя одынъ за однимъ гетьманы козацькыйи: Тарасъ Трясыло, Павлюкъ, Остряныця, зъ мечемъ и пожежею супротивъ ворогивъ ридного краю.

Тилько жъ не надовго пидіймалы Украинци пидъ йихъ корогвамы похылу голову. Ляхы держалысь мицно за руки зъ недоляшкамы, гасылы хутко поломъе, и зновъ по свойому оберталы Украинину. Ажъ ось пид-

1) Ричю Посполитою, чи то республикою, называлось усе въ-ступи—Польша, Литва и Русь; а Руссю звалысь Галыція, Подоль, Волынь и Украина.

нявсь страшный, негасимый пожаръ изъ Запорожя — пиднявсь на Ляхивъ и на всехъ недругивъ отчизны батько Хмельныцький. Чого вже не робылы тыйи старосты й комысары зъ городовыми козаками, тыйи консистенты — ротмыстры зъ своимы жолнирами, да й наши перевертни недоляшкы зъ надвирнею сторожею! якъ уже не вмудрялысь, щобъ погасыть тейе поломье! якъ уже не перегорожувалы степови дороги своимы заставами, щобъ не пустыть никого зъ Украины на Запорожже, такъ де жъ? Кыдае пахарь на поли плугъ изъ воламы, кыдае пывоваръ казаны въ бровари, кыдають шевци, кравци и ковали свою роботу, батькы покидають маленькихъ дитей, сыны немощныхъ батькивъ и матерокъ, и всяке, манивцемъ да ночамы, степамы, тернамы да байраками, чымчыкуе на Запорожже до Хмельныцького. И оттогди-то вже „розлылась козацька слава по всій Украины...“

Де жъ пробувавъ, де тынявсь поповычь Паволоцький, Шрамъ, десять рикъ одъ Острияницы до Хмельныцького? про те багато треба бъ було пысаты. Сыдивъ винъ зимовныкомъ середъ дыкого степу на Нызу, взявши соби за жинку бранку Туркеню; проповидувавъ винъ слово правды Божойи рыбалкамъ и чабанамъ Запорозькымъ; побувавъ винъ на поли й на мори зъ Нызовцями; выдавъ не разъ и не два смерть передъ очыма, да й загартовався у военному дили такъ, що якъ пиднявсь на Ляхивъ Хмельныцький, то мавъ зъ його велику корысть и пидмогу. Нихто краще його не стававъ до бою; нихто не крутывъ Ляхамъ такого времѣя.... У тыхъ-то случаяхъ пошрамовано його вдовжь и впоперекъ, що козаки, якъ прозвалы його Шрамомъ,

то й забулы реестрове його призывще. И въ рѣстрахъ-то, колы хочете знаты, не Чепурнымъ його запысано. Было козацтво у ту вѣйну на те, що або панъ, або пропавъ; то не коженъ пысався власнымъ призывшемъ.

Отъ же мынулы, мовъ коротки свята, десять рикъ Хмельныщыны. Вже й сыны Шрамови пидрослы и допомагали батькови у походахъ. Двое полягло пидъ Смоленськымъ; оставсь тилько Петро. Ище такы й послИ Хмельныцького не разъ дзвонывъ старый Шрамъ паблею; дали, почуваячусь, що вже не служыть сыла, зложывъ зъ себе полковныцтво, пострыгсь у попы, да й почавъ служыты Богови. Сына посылавъ до вѣйскового обозу, а самъ знавъ одну церкву. „Вже“, думавъ, „Украина Ляхамъ за себе оддячыла, недоляшкывъ выгнала, унѣю стерла, Жыдову передушыла. Теперь нехай“, каже, „жыве громадськымъ розумомъ“.

Колы жъ дывытця, ажъ изновъ не гараздъ почи-найетця на Вкрайини. Свары да чвары, и вже гетьманською булавою почалы гратысь, мовъ ципкомъ. Повернулось у старого сердце, якъ почувъ, що козацька кровь ильетця по-надъ Днипромъ черезъ Выговського и черезъ навиженого Юруся Хмельныченка, що одержавъ послИ його гетьманованне; а якъ досталась одъ Юруся булава Тетери, то винъ ажъ за голову вхопывся. Чи молитця, чи Божу службу служыть, одно въ його на думци: що ось погыбне Украина одъ сього недруга отчызного и похлибци Лядського. Було, чи выйде середъ церквы зъ наукою, то все одно мырянамъ правыть: „Блюдитесь, да не порабощени будете; стережитесь, щобъ не дано васъ изновъ Ляхамъ на поталу!“

Якъ-же вмерь Паволоцькый полковныкъ, що послИ

Шрама урядъ державъ, да зійшлась рада, щобъ нового полковныка выбаты, винъ выйшовъ середъ рады у попивській ряси, да й каже:

„Диты мои! наступае страшна година: перехрыстыть, мабуть, насъ Господь изновъ огнемъ да мечемъ. Треба вамъ теперъ такого полковныка, щобъ знавъ, де вовкъ, а де лысыця. Послужывъ я православному Хрыстыянству зъ батькомъ Хмельныцькымъ, послужу вамъ, дитки, ще й теперъ, колы буде на те ваша воля“.

Якъ почувла жъ се рада, то такъ и загула одъ радости. Заразъ окрылы Шрама шапками, вйськовыми корогвами, дали йому до рукъ полковныцьки клейноды, вдарылы зъ гарматъ, да й ставъ пан'отець Шрамъ полковныкомъ.

Тетера ажъ здригнувсь, якъ почувъ про таке диво. Що бъ то робывъ? да ничого не змигъ, бо такъ велось у ту старосвищину, що рада була старша одъ гетьмана. Мусывъ Тетера прыслаты Шрамови универсаль на полковныцтво. Обыдва жъ вони политькуютьця, подарунками обсылаютьця, а нышкомъ одынъ на одного чыгають.

Отъ же думавъ Шрамъ, думавъ, якъ бы Вкрайину на добру дорогу вывесты; дали, надумавшысь, пустывъ таку поголоску, що нездужае, нездужае полковныкъ; передавъ осаулови Гулаку свй рейментарськый пирначъ, а самъ выйхавъ, нибы кудысь далеко на хутиръ для спокою, да ото й махнувъ изъ сыномъ съ Паволочы. Куды жъ винъ махнувъ и що въ його було на думци, незабаромъ того довидаемось.

Глава друга.



коро ввійшовъ ото Шрамъ у пасику, ище не помолывсь и святому Зосымови, що стоить по пасикахъ, якъ слухае — у Череваня щось играе.

„Э, да се въ васъ и бандура!“

„И бандура“, каже Васыль Невольныкъ, „та ще чья бандура!“

„Такъ се въ васъ Божый Чоловикъ?“ спытавъ тоди Шрамъ.

„Ато хто жъ бы такъ загравъ у бандуру? Такого кобзаря не було, та, може, вже й не буде мижъ козацтвомъ.“

Идутъ вони, ажъ бандура заговорила голоснійше. Оддалеки — такъ наче сама зъ собою розмовляла, а тутъ и голосъ почавъ пидтягувати до нейи.

Гляне Шрамъ, ажъ сыдять на трави пидъ лыпою и Божый Чоловикъ, и Черевань, а передъ ними стоить полудень. Звався Божымъ Чоловикомъ слипый старець-кобзарь. Темный винъ бувъ на очи, а ходывъ безъ поводыря; у латаній свытыни и безъ чобить, а грошей носывъ повни кышени. Що жъ винъ робывъ изъ тьмы гришмы? выкуплявъ невольныкивъ изъ неволи. Ище жъ до того, знавъ винъ личыть усяки болисти и замовлять усяки раны. Може, винъ помагавъ свойимы



Бгатику! чи се ты самъ, чи се твоя душа прылетила? (Ст. 13).

молытвамы надъ недужымъ, а може, и своїмы писнямы; бо въ його писня лылась якъ чары, що слухае чоловікъ и не наслушаетця. За тейе-то за все поважали його козаки, якъ батька; и хоть-бы, здайтця, попросывъ у кого остатню свытыну съ плечей на выкупъ невольныка, то-й ту бъ йому отдавъ усякый.

Теперь винъ распочавъ смутную думу про Хмельницького, якъ умыравъ козацькый батько:

„Ой настала жаль-туга да по всій Украйини...“

Не одинъ козакъ гирко плакавъ одъ сіи думы, а Череванъ тилько похытувавсь, гладючи череву; а щокы— якъ кавуны: сміявсь одъ шырого сердца. Така була въ його вдача.

Полковникъ Шрамъ, стоючи за деревомъ, дывивсь на ихъ обохъ. Давно вже винъ не бачывъ свого смишлывого прытеля, и хоть-бы крышечку переминывся Череванъ; тилько лысына почала наче бильшь вылыскуватись. А въ Божого Чоловика довга, до самого пояса борода, ище краще процвила сидынамы; а на выду дидусь просыявъ якымся свитомъ. [Спываючи писню, одъ сердца голосыть и до плачу доводять, а самъ пидведе въ-гору очи, наче бачыть таке, чого выдющый зъ-роду не побачыть.

Слухавъ його Шрамъ довго, а дали выйшовъ изъ-за дерева да й ставъ навпротывъ Череваня. Якъ схопытця жъ мій Череванъ: „Бгатику!“ каже (бо трохы картавивъ), „чи се ты самъ, чи се твоя душа прылетила послухаты Божого Чоловика?“

Да й обявсь и поциловавсь изъ Шрамомъ, якъ изъ риднымъ братомъ.

Божый Чоловикъ и соби простягъ руки, якъ за-

чувъ Шрамивъ голосъ. Зрадивъ дидусь, що ажъ усмихавсь.

„Бувай же“, каже, „здоровъ, пан’отче и пане полковнику! Чулы й мы, якъ Господь наустывъ тебе взятись изновъ за козаковання“.

А Васыль Невольныкъ, стоючы коло ныхъ, соби радуеця, похытуючы головою.

„Боже“, каже, „правый, Боже правый! есть же на свити таки люде!“

„Якымъ же, бгате, оце случаемъ?“ пытае заразы Черевань.

Шрамъ одвитовавъ, що на прощу до Кыива, да й спытавъ самъ у Божого Чоловика: „А тебе жъ, диду, звидкы и куды Господь несе?“

„Въ мене“, каже, „одна дорога по всьому свиту. *Блажени мылостывыйи, яко тыйи помыловани будуть...*“

„Такъ, батько мій! такъ, мій добродію!“ перебивъ йому Васыль Невольныкъ. „Нехай на тебе такъ Господь оглянетця, якъ ты на мене оглянуся! Тры годы, якъ тры дни, промучывсь я въ проклатій неволи, на Турецкій каторзи, на тыхъ безбожныхъ галерахъ; не думавъ уже вбачаты Святоруського берега. А ты выспивавъ за мене сто золотыхъ червоныхъ; отъ я изновъ мижъ хрещенымъ мыромъ, изновъ почувъ козацькую мову!“

„Не мини дякуй за се, Васылю“, каже Божый Чоловикъ: „дякуй Богови да ще тому, хто не поскупывсь выкнутъ за тебе съ череса сотню дукативъ“.

„Хиба жъ я йому не дякую?“ каже Васыль Невольныкъ. „Ченци звалы мене у манастыръ, бо я такы й пысьменный соби трошкы; Нызове товариство заклы-

кало мене до коша, бо я вси гирла якъ свои пять пучокъ знаю; зазывавъ мене и кошовый, и отаманне, якъ проходывъ я, повертаючи зъ неволи, черезъ Запорожжя, а я кажу: Ни, братчыкы! пйду я тому служыты, хто вызволивъ мене изъ бесурменської земли; буду въ його грубныкомъ, буду въ його хочъ свынопасомъ, абы якъ небудь йому подякуваты.“

Такъ говорывъ Васыль Невольныкъ. А Черевань, слухаючи, тилько сміався.

„Ка'знае що ты“, каже, „городышъ, бгате! Буцимъ уже сто червоныхъ таке дыво, що зъ-роду ниhto й не бачывъ. Писля Пылявцивъ та Збаража носылы козаки червинци прыполамы. Ну, сядьмо лышъ, мои дорогойи гости, та выпьемъ за здоровье пана Шрама“.

Выпылы по кубку. Тогда Шрамъ и пытае: „Скажы жъ мини, Божый Чоловиче; ты всюды вештаеся и всячыну чуешъ: чи не чувавъ ты, що въ насъ дйетця за Днипромъ?“

„Дйетця таке“, одвитуе Божый Чоловикъ, важко здыхнувшы, „що бодай и не казаты! Не добре, кажуть, починае на сій Украйини Тетера, а за Днипромъ чынитця шось ище гирше. Жадного ладу мижъ козакамы.“

„А старшына жъ изъ гетьманомъ на що?“

„Старшыны тамъ багато, да нйкого слухаты.“

„Якъ нйкого? а Сомко?“

„А що жъ Сомко? хотъ винъ и розумомъ, и славою узявъ надъ усима, да й йому не дають гетьмановаты.“

„Якъ же се такъ?“

„А такъ, що дьяволъ замутивъ голову Васюти Ниженському. Уже й чупрына била якъ у мене, и

зовсимъ уже дидь; дожывавъ бы вику на полковныцтви: такъ отъ же захотилосъ на старистъ гетьмановаты. Багато козакивъ и його слушае. А якъ винъ соби майетця добре, то й бояре, що на Москви коло Царя, що хотя роблять, и тыйи за його тягнуть руку. А Сомко, бачте, на впростецъ иде, не хоче никому *придите поклонимося*. Оттаке якъ завелосъ миждо старшымы головами, то й козаки пійшли одынъ протывъ одного. Де зостринутця чи въ шынку, чи на дорози, то й зотнутця. „Чья сторона?“ — „А ты чья?“ — „Васютына.“ — „Геть же къ нечыстому, боярськый пиднижку!“ — „Ты геть къ нечыстому, Переяславськый крамарю!“ „Се-то, бачъ, що Сомко майе въ Переяслави свои крамни коморы въ рынку, такъ Васюрынцямъ и звадливо. Оттакъ зотнутця, да й до шабель.“

Слухаючы таку невеселу повистъ, полковныкъ Шрамъ и голову понурывъ.

„Да потрывай же“, каже: „аже жъ Сомка выбрали одностайне гетьманомъ у Козельци?“

„Одностайне“, каже; „и самъ преосвященный Меодій бувъ тамъ и до прысягы козакивъ приводывъ: да, якъ Сомко соби чоловикъ прямота, то й не въ догадъ йому, що святой отецъ думавъ, мабутъ, заробить соби яку сотнягу, чи дви, червоныхъ на рясу. А Васюта Ниженськый водывсь у старовыну зъ Ляхамы, такъ проноза вже добрый: брязнувъ кашукомъ передъ владыкою, — той и вымудровавъ щось на Сомка, да й послалы у Москву лысть. Отъ и пійшла така вже поголоска, що рада Козелецька не слупна; треба, кажуть, изоваты зуповную раду, щобъ и вйсько зъ Запорожжя було на ради, щобъ одностайне соби гетьмана

обралы и одного вже слухалы; бо Васюта хоче собі гетьманства и не слухае Сомка гетьмана, а Запорозци собі гетьманомъ Бруховецького зовуть.“

„Якого се Бруховецького?“ ажъ скрыкнувъ Шрамъ.
„Що се ще за проява?“

„Проява“, каже, „така, що слухайешть, да й вирынять не хочетця. Вы знаете Иванця?“

„Оттакъ!“ кажуть: „ище бъ не знаты чуры Хмельницького!“

„Ну, а чулы, яку наругу прынявъ винъ одъ Сомка?“

„Чулы“, каже Шрамъ. „Що жъ по тому?“

А Черевань: „Здаетця, Сомко налаявъ Иванця свынею, чи що?“

„Не свынею, а собакою, да ще старымъ собакою, да ще не на самоти, чи тамъ якъ-небудь на пидпытку, а передъ отаманнемъ, передъ генеральною старшыною, на домовій ради въ гетьмана.“

„Га-га-га!“ засміявъ Черевань. „Одважывъ солы добре“.

„Одважывъ солы добре, каже Божый Чоловикъ, „да зробывъ не гараздъ. Иванецъ бувъ собі не значный товаришть, да, за свою щыру службу старому Хмельницькому, мавъ вельку въ його повагу и шанобу. Бувало, проживаешть у гетьманському двори, то й чуешть: „Коханий Иванецъ! Иванецъ, друже мій єдиный!“ озветця до його, пидъ веселый часъ, за чаркою. „Держысь, „Юру“, каже бувало сынови, „держысь Иванцевойи рады, якъ не буде мене на свити: винъ тебе „не ошукае“. Отъ Юрусъ и державсь його рады, и вже було що скаже Иванецъ, те й свято. А

Сомко, знайте сами, доводитця Юрусеви дядько, бо старый Хмиль державъ у-перве його сестру, Ганну: такъ винъ и не алюбывъ, що чура орудуе небожемъ. Да ото разъ, якъ зъйихалась до молодого гетьмана старшына, да почалы радоваты про вийськови речи, отъ Иванецъ и соби до гурту — не мовъ бы гетьманський чура — да щось и блявкнувъ съ простоты. А Сомко, знаете, якый? заразъ загорытця, якъ порохъ. „Пане гетьмане“, до Юруся, „старого пса не прыстойно мишаты въ нашу компанію“... Отъ якъ воно було, панове, колы хочете знаты. Я самъ тамъ лучывсь, то й чувъ своимы ушыма. Да пры мини жъ счынився й гвалтъ у-ночи, якъ Сомко піймавъ Иванця зъ ножемъ коло свого-лижка. Да ото й судылы його вийськовою радою, и прысудылы усикнуть голову. Воно бъ же й сталось такъ, панове, да Сомко выдумавъ Иванцеви гиршу кару: звеливъ посадыть верхы на свыню, да й провезты по всьому Гадячу.“

„Га-га-га!“ зареготавъ изновъ Череванъ. „Котузи по заслузи“.

А Шрамъ усе слухавъ мовчки, да й каже понуро: „Се все мы знаемо“.

„Знаете“, каже кобзарь: „а чи чувалы, що послы того вкойивъ Иванецъ?“

„А що жъ винъ, бгате, вкойивъ?“ пытае Череванъ. „Якъ-бы на мене, то врагъ бы його й знавъ, що й чыныты писля такого сорому! Якъ тоби здаетця, бгате Васылю?“

Той тилько мовчки похытавъ головою.

„Отъ що зробывъ Иванецъ“, прынявъ изновъ слово Божый Чоловикъ. „Мабуть, нечыстый напутывъ

його, Почавъ гроши збираты, почавъ усякому годыты, почавъ прохаты уряду въ гетьмана. Той и настановывъ його хорунжымъ. Якъ-же ото Юрусь не змигъ держатысь на гетьманствы, да пійшовъ у ченци, такъ Иванецъ, маючи въ себе одъ усихъ льохивъ гетьманськихъ ключи, пидчыстывъ щыре срибло, скилько його тамъ осталось, да й махнувъ на Запорожжя. А тамъ якъ сыпнувъ гришмы, такъ Запорозци за нымъ ройемъ: „Иванъ Мартыновичъ! Иванъ Мартыновичъ!“ А винъ, ледачий, зъ усима обнимаеця, да братаеця, да горилкою поить...

„Ну, що зъ сього?“ изновъ такы спытавъ понуро Шрамъ.

„А отъ що зъ сього. Запорозци такъ соби його вподобалы, що возвалы раду, да й бухъ Иванця кошовымъ“.

„Иванця!“ ажъ скрыкнулы вси у одно слово.

„Ни, вже його теперъ нихто не зове Иванцемъ“, додавъ Божый Чоловикъ: „теперъ уже винъ Иванъ Мартыновичъ *Бруховецькый*“.

„Сыла небесная!“ закрычавъ, ухопывшысь за голову, Шрамъ. „Такъ се його зовуть Запорозци гетьманомъ?“

„Його, пан'отче, його самого!“

„Боже правый, Боже правый!“ сказавъ Васылъ Невольныкъ, „переведетця жъ, выдно, ни на що славне Запорожжя, колы таки гетьманы насталы!“

А Череванъ тилько сміявся: „Га-га-га! оце такъ, бгатци, що штука! и вви-сни такого дыва не слылось никому!“

„Браття мое мыле!“ рече тогда полковныкъ Шмаръ;

„тяжко моему сердцю! не здолаю бильшь одъ васъ тайтись! Йиду я не въ Кывь, а въ Переяславъ, до Сомка гетьмана; а йиду отъ чого. Украйину розидра-лы на двое; одну часть, черезъ недоляшка Тетеру, незабаромъ вивьмутъ у свои лапы Ляхы, а друга сама по соби перевернетця катъ знае на що. Я думавъ, що Сомко вже твердо сивъ на гетьманствѣ, — а въ його душа щыра, козацька! — такъ миркувавъ я, що якъ разъ виддѣму його зъ усима полками на Тетеру, да й прывернемъ усю Украйину до одной бѣлавы. Гиркойи пиднись ты моему сердцю, Божый Чоловиче; да ще, може, якъ-небудь дило на ладъ повернетця. Йидьмо зо мною на той бикъ: тебе козаки поважають, твоеи рады послухають“.

„Ни, пан’отче“, перебивъ його кобзарь, „не слидь минѣ встрявати до тыйи заверухы.“

Не намъ тейе знаты,

Не намъ про те, за те раховаты.

Наше дило Богови молытись,

Спасытелю хрестытись...

„А бильшь“, каже, „минѣ не по-нутру отта мызерная пыха, що розвелась усюды по Гетьманщыни. Почалы значни козаки жыты на Лядськый кшталтъ изъ великойи роскоши. И вже байдуже йимъ теперъ старосвитськыйи епивы, що й людямъ у-подобу, и Богу не протывни: держать коло себе хлопцивъ изъ бандуркамы, що тилько й знають ризаты до танцивъ. Духъ мий не тернытъ сього!...“ И наша темна старчота, рады тейи ледящыци горилкы, брынчытъ йимъ на кобзахъ услячыну [Забулы й страхъ Божый.] Уже жь ты не ба-

чышь ничего, уже тебе наче взято изъ сього свиту: такъ чога жъ тоби вертатысь до грихивъ людськыхъ? Умудривъ Господь твою слепоту, то спивай же добрымъ людямъ, не прогнивляючи Господа; такъ спивай, щобъ чоловікъ на добре, а не на зле, почувся!“

„Бгатци!“ сказавъ Черевань, „отъ я почувсь на добре. Ходимо лышь до хаты. Тамъ намъ дадутъ такихъ вареныкивъ; що всяке горечна души одмыгне. Годи вже вамъ гуторить про свои смутки. Я радуюсь, що Господь пославъ мини такихъ гостей, а вы тилько охаете та стогнете. Не засмучайте мои гостыны, забудьте свои гиркыи думы хоть на сьогодняшней вечерѣ.“ Такъ говорючи, уставъ да й повивъ своихъ гостей до хаты.

Шрамъ ишовъ за нимъ, хытаючи понуро головою. Василь Невольныкъ голосно журился, на його гляючи. Божый Чоловикъ ясенъ бувъ на выду, мовъ душа його жыла не на земли, а на небі.

Глава третя.



Заглянувъ Черевань у пекарню: „Э“, каже, „да се жъ ты мини й жєныха привязъ, пане бгате!“ (А въ пекарни давно вже сидивъ Петро Шраменко, розмовляючи съ Череваныхою и въ її дочкою, Лесею). „Бачъ, якъ у йихъ весежо! не такъ, якъ у насъ. Щебечуть, наче горобци. Що то за мылый викъ молодецький? Вєды жъ, Васылю, гостей у свитлицю, а я поздоровкаюсь изъ молодымъ Шраменямъ“.

Свитлиця въ Череваня була така жъ, якъ и теперъ буває въ якого заможного козака (що ще-то за луччыхъ часивъ дидъ, або, батько збудовавъ). Сволокъ гарный, дубовый, штучно покарбованый; и слова зъ Святого Письма выризани; выризано, и хто свитлицю збудовавъ, и якого року. И лавкы были хороши, лыпови, изъ спынкамы, да ще й кылымцямы позастылани. И стиль, и божныкъ изъ шытымъ рушныкомъ округы, и все такъ було, якъ и теперъ по добрыхъ людяхъ вєдетця. Одна тилько дыво було въ Череваня, таке, що вже теперъ нигде не зуздрышъ. Кругомъ стинъ полыци, а на тыхъ полыцяхъ срибни, золоти и крышталєви кубкы, коновкы, пляшкы, таци и всяка посудына, що то на войни поздобувано. Якъ палылы козаки шляхетський двори и княжецький замкы, то все те мишкамы выносылы. Такъ-то Богъ тогди погодывъ козац-

тву, що тыи вельможныйи каштеляны и старосты, пышныйи, несказанно горди, що гукалы на гайдукивъ, сыдя изъ симы кубкамы да конвамы по-за столамы, пйшлы въ неволю до Крыму, або поляглы головою въ поли, а йихъ кубкы стоять у козака въ свитлыци. Ище жь по стинахъ высятъ и йихъ шабли, пыщали, пидъ срибломъ, старосвитеськи сагайдакы Татарськыйи, пытыйи золотомъ ронды, Немецьки гаркебузы, сталевы сорочки, шапкы сысюркы, що вкрые тебе зализною ситкою, и нйяка шабля не визьме. Отъ же ни що тейе не оборонило Ляживъ и недоляшкывъ! допеклы козакамъ и поспильству до самого сердца. То отъ теперь и тыи луку, и тыи шабли, и вся та зброя сыяе не въ одного Череваня въ свитлыци, и веселыть козацькы очы.

Тилько жь Петру, Шрамовому сынови, здалось найкраще у пекарни, хоть тамъ не було ни шабель, ни сагайдакывъ, а тилько сами квиткы да запашныйи зиллй за образами й по-за сволокомъ, а на столи лежавъ ясный да высокый хлибъ. Такъ Леся жь усе скрашала собою такъ, що вже справи годылось бы сказаты: „У хати въ ии, якъ у виночку; хлибъ выпечный, якъ сонце; сама сыдыть, якъ квиточка“. И розговорывсь изъ нею Петро, якъ братъ изъ сестрою. А сама Череваныха була пани ввичлива: знала, якъ до кого зъ речамы обернутысь. Такъ мойму козакови луччою компани було й не треба: тутъ бы винъ и засивъ на весь вечеръ, дывлячысь на чорны дивоцькы бровы да на шпыти рукава. Якъ ось и лизе Черевань, сопучы, черезъ порогъ. Увалывсь у хату, да, розставывшы руки, до його: „А, бгатику!“ и почавъ цюловатысь. „Ну“, каже, „бгате, не вынзъ идешъ, а вгору. То бувъ козакъ надъ

козакамы, а теперь ище ставь крацый!... Меласю!“ обернувсь до жинкы, „отъ намъ зятьокъ! Лёсю, отъ женыхъ тоби пидь пару, такъ такъ! Га-га-га? Бачь, бгате, який я чоловикъ? самъ набываюсь изъ своимъ добромъ. Такъ не бере жь бо нихто, та й годи! Ходимо, бгате, въ свитлыцю; нехай воны тутъ соби пораютця. Жиноча ричь коло печи, а намъ, козакамъ, чарка та шабля“.

Да, взявши Петра за руку, и потягъ до свитлыци. Обернувсь козакъ, переступаючи, черезъ поригъ — и сердце въ його заграло: Лёся не спускала зъ його очей, а въ тыхъ очахъ сыяла й ласка, й жаль, и щось ище таке, що не вымовышь ніякымы словамы. Сподобавсь выдымо козакъ дивчыни.

„Ось подывысь, дидусю“, каже Черевань, привившы Петра до Божого Чоловика: „чи той се Шрамченко, що переплывъ Случь пидь кулямы? Йй-Богу, а й доси дывуюсь! що таке молоде; да таке смиле! Пробравсь у Лядський таборъ, убывъ хорунжого, и короговъ його; прынесъ до гетьмана. Що жь бы теперь воно зробыло!“

Божый Чоловикъ положывъ Петрови на голову руку, да й каже: „Добрый козакъ; по батькови пійшовъ. Одвага велика, а буде довговишный, и на войны шасливый: ни шабля, ни куля його не одоліе, и вмре своейю смертю“.

„Нехай лучче“, сказавъ батько, „поляже одъ шабли и одъ кули, абы за добре дило, за цилость Украйины, що ось розидралы на двойе“.

„Ну, годи жь, годи вже про се!“ каже Черевань. „Ось я вамъ дамъ краще дило до розмовы“.



Да, взявши Петра за руку, и потягъ до свилыщи. (Ст. 24).

И доставъ изъ полдцы жбанъ, прѣхымерно зъ срибла вылытый и що-то вже за преукрашенный! Не жалувалы паны грошей для своей пыхы и потихы. По бокамъ биглы босонижъ дивчата, — инша и въ бубонъ бѣе; а зверху сыдивъ, мовъ жывый, божокъ Греческый, Бахусъ. Тымъ-то Череванъ и звавъ сой жбанъ *Божкомъ*.

„Шкода мини, дидусю, твоеи темноты“, каже кобзареви. „Ось на лышь полапай, яке тутъ дыво. Се я въ Польци таке соби доскочывъ“.

„Суета суетствій!“ каже той усмихнувшысь.

„Ни, бгатику, не суета! Ось якъ выпьемъ зъ Божка по кухлыку, то може, не такъ заговорышь“.

„Изъ Божка?“ каже Шрамъ. „Такъ отсей чортыкъ зоветця въ тебе Божкомъ?“

„Нехай винъ буде й чортыкъ“, одвитуе Череванъ, „тылько кажутъ, що въ старовыну у Грекивъ.... Бувъ народъ Греки, такъ, прымирно, якъ мы теперь козаки.... народъ непобидимый, — отъ що!... Такъ у тыхъ-то Грекивъ съому Божку, кажутъ, була велька шаноба“.

„А въ тебе вже не така?“ пытае Шрамъ.

„Ни“, каже, „на мене винъ не нарикатыме, а отъ, колыбъ вы його не зневажылы“.

И доставъ мальовану тацю, срибломъ ковану. А на таци було намальовано таке, що всяке бѣ засмѣлось. Жыдокъ даје Запорозцеви напытысь горилкы зъ барыльця. Запорожець такъ и прыпавъ до барыля; а Жыдъ — одно одъ страху, а друге одъ скнаросты — держыть да й трусытця. А зверху и пидшысано: *Не трусысь, псяюхо: губы побъешь! Отъ на таку-то тацю поставывъ Череванъ пять кубкивъ-рипокъ, да й почавъ наливаты якусь настойку съ того Божка.*

„Се, бгатци“, каже, „така въ мене настойка, що мертвий уставъ бы въ домовыны, якъ бы выпывъ до-
бру чарку“.

Да й обнисъ усихъ; не мынувъ и Василя Неволь-
ныка, хотъ той стоявъ соби оддаликъ, мовъ у мона-
стыри служка передъ игуменомъ.

„Ну, брате Михайло“, каже, повеселивши трохи
одъ того трунку, Шрамъ, „загадаю жъ я тоби про
твого Божка загадку: *Стоить божокъ на трохъ ниж-
кахъ; король каже: „Потиха моя!“* краля каже: „Поги-
бель моя“.

„Ну, бгатику“, каже Черевань, „хочъ убий, не
второпаю. Дакъ якъ, якъ? Король на трохъ нижкахъ,
а краля каже: „Погибель моя?“

„Не король, а божокъ на трохъ нижкахъ, якъ отъ
и твій. *Король каже: „Потиха моя!“* краля каже: „По-
гибель моя?“

А, пекъ же його матери, якъ мудро!... Король
каже: „Потиха моя!... „Се бъ то, бачъ, якъ чоловикъ
упъетця, то вже тоди крычыть: „Я король!“ А жинка:
„Охъ погибель же моя! де жъ мини теперь дитьця?“

„Якъ разъ такъ! тилько, братику, твоя жинка не
влякалась бы тебе, хотъ-бы ты й королемъ изробывсь“.

„Ище не одгадавъ!“ каже Черевань. „А ну жъ
ты самъ!“

„Мини не дыво, а отъ якъ-бы ты показавъ свою
премудрость!“

„Моя премудрость, бгатику“, сказавъ Черевань,
„знае тилько налыть та выпыть; а тамъ соби мизкуйте
якъ хотъ. На те вы попы, на те вы мужи совита, на
те вы народни головы“.

„Не вадыло бѣ и не попамъ“, одвитуе Шрамъ, „не вадыло бѣ и не мужамъ совита знаты, що король тутъ—тило, а краля—такъ се душа. Тило потишаецця, якъ чоловікъ запѣ; а душа погыбайе; отъ и все“.

„Пгавда, бгатику, йй-Богу пгавда!“ сказавъ, похытуючы головою, Черевань: „выпьемъ же ще по кубку!“

Ажъ ось увійшла до гостей Череваныха, молодыця свижа й повновыда, пряма якъ тополя,—замолоду була дуже хороша. Пидійшла до Шрама пидъ благословенные. Винъ ии поблагословывъ, да, якъ пани була гожа, и воны жъ такы давни прытели, то ще схотивъ и попросту зъ нею прывитатысь, да й каже: „Позвольте зъ вами прывитатысь, добродійко!“

А вона каже: „Да якъ же звольте, добродію!“

Да й поціловалысь любенько.

Тогди Череваныха ще обнесла гостей.

Черевань выпывъ на радощахъ повный кубокъ, брызнувъ пидъ стелю, да й каже: „Щобъ наши диты оттакъ выбрыкувалы!“

А Череваныха почала весты за чаркою розмову: „Такъ отсе“, каже, „вы на прощу, пан’отче? Святе дило!... Отъ, моя дружно“, обернулась до чоловіка, „отъ якъ добри людє роблять: ажъ изъ самой Паволочи йидуть молытысь Богу. А мы живемо ось пидъ самымъ Кывомъ, да ще не булы сю весну й одного разу у святыхъ угодныкывъ. Ажъ соромъ! Да вже жъ, якъ соби хочешъ, а въ мене не дурно рыдванъ наготовлений. Прычеплюсь за пана Шрама, да куды винъ, туды й я“.

„Отъ божевильне жиоцтво!“ каже Черевань. „Ку-

ды винь, туды й я! А якъ-же пань Шрамъ махне за Днипро?“

„То що жь? я бь не махнула? Доки сидиты намь у сьому воронячому гнизди? Ось уже который разь переказуе мй брать, щобь прыйихалы до його въ гости! И чому бь не пойихаты?“

„Да й-Богу, Меласю“, каже Черевань, „я радь бы душею, колыбь мене хто взявь, та й перенись до твого брата пидь Нижень. Кажуть, и живе добре — такы зовсимь по-панськы. Не дурно його козаки прозвалы Княземь.“

„Отсе буцимь - бы за достатокъ його Княземь зовуть!“ перебыла Череваныха. „У його жинка княгыня зь Волини, Ляшка. Якъ руйновалы наши Волинь, такъ винь соби вподобавь якусь бидолашну княгыню; оть и самого прозвалы Княземь“.

„Князь Гвынтовка!“ зарэготавшы каже Черевань. „То булы Вышневецкыйи да Острозкыйи, а теперь пишлы князи Гвынтовкы... Знай нашихь! А добра, кажуть, людына съ тыйи княгыни. Пойихавь бы до Гвынтовкы хочь заразь, колыбь не далеко!“

Гуторять поцываючы, ажь ось — двери рыпъ! и — якъ сонце засыяло: увйшла въ свитлыцю Леся.

„Оть моя й краля!“ каже Черевань, беручы ии за руку.

Вь свитлоньку входить,
Якь зоря сходить.
Вь свитлоньку ввійшла,
Якь зоря зійшла.

А що, бгате? чи ничымь же похвалытысь на старисть Череваневи?

Ничого не скававъ Шрамъ, тилько дывывсь на Лесю.

А вона жъ то стояла, пидійшовшы пидъ благословенные, хороша да прехороша! Ище тропкы засоромылась передъ поважнымъ гостемъ, то и очыци спустила въ землю, а на выду ажъ сыяе. На дыво була въ Череваня дочка, да й годи. Тымъ-то Петро, якъ побачывъ, то й умеръ, дарма, що выдавъ доволи свиту!

„Ну лыштъ, доню“, каже Черевань, „пиднесы намъ по кубку, якъ тамъ кажуть, изъ *билькхъ ручокхъ*“.

Леся поблагословилась и пиднесла. И що-то вже, якъ хороше вдасця! чи заговорыть, чи рукою поведе, чи пйде по хати—уса не такъ, якъ хто иншый: такъ уси й дывлятця, и такъ усякому на души, мовъ сонечко свитыть.

Выпивъ старый Шрамъ *изъ билькхъ рукъ* одъ Череванявны, да й каже Череваневи; „Ну, братъ Михайло, теперь и я скажу, що е тоби чымъ на старисть похвалятысь“.

А Черевань тилько сміетця.

«А що жъ, прыятелю?» каже Шрамъ дали, «хотьбы мини годылось бы про одно вже помышляты, да, може, теперь година щаслива; щобъ и намъ не занедбаты—чи не отдавъ бы ты своейи Леси за мого Петра?»

А Черевань йому: „А чомъ же не отдавъ бы, бгате? нехай нашимъ ворогамъ буде тяжко! хйба ты не Шрамъ, а я не Черевань?“

Такъ чога жъ довго думаты? давай руку, свате!“ Да й подалы соби руки, да й обнялысь, да й поцिलовалысь. Тогди за дитей, да й кажуть: „Боже васъ благословы! поцилуйтеса, диты!“

Петро одъ радости не знавъ, де винъ и стойть, — мовъ сонъ йому снытця! Про що винъ тилько подумавъ, заразъ воно йому й есть. А Леся чогось нибы злякалась, да й каже: „Татусю! хйба жъ вы не бачыте, що не вси въ хати?“

Обернувь Черевань, — немае жинкы. Ажъ ось вона зновъ увійшла въ свитлицю.

„Меласю!“ каже Черевань, „чи бачышь, що тутъ у насъ діетця?“

„Бачу, бачу, пышный мій пане!“ дала вона такый одвить, да заразъ и взяла одъ його дочку за руку.

Глянувъ Петро: де жъ та ласка у очахъ у Леся? де жъ той жалъ дився? де дилось те, чого не вымывшь ніякымы словамы? Вона схылыла головку на матерыне плече, и перебирае въ ии на шыи дукаты, а на Петра й не згляне. Гордо пиднялась и губка — не добрый знакъ для зальцяння!...

„Ну, ничого сказаты, пан'отче!“ каже Череваныха Шрамови, „швыденько вы добуваете изъ своимъ сынкомъ замкы! Отъ же мы вамъ доведемо, що жиноче царство стойть крипше надъ уси царства.“

Черевань тилько сміявся.

А Шраму було не по-нутру. „Врагъ мене возьми“, каже, „колы зъ инымъ замкомъ не скорійшь исправыся, нижь изъ бабою! Тилько жъ не знаю, що за одсичъ вы намъ изробыте? Чымъ я вамъ не свать? чымъ сынъ мій не женихъ вамъ?“

Черевань, стоячы зъ боку, усе дывывсь на Шрама, роззявившы ротъ, да слухавъ. Якъ-же Шрамъ замовкъ, тогди винъ повернувъ шыю до жинкы, што-то вона скаже.

А та вже тогди медовымъ голосомъ: „Пан’отче, пане полковнику, прыятелю нашъ любый! нема на Вкрайини чоловика, щобъ не знавъ, чого стойить старый Шрамъ, и якый старшына, якый полковникъ не отдавъ бы дочки за твого пана Петра? Не къ тому, пан’отченьку, тутъ ричъ. Зъ дорогою душею ради й мы оддать за його свою дытыну; тилько жъ бо треба чыныты таке дило по-Хрыстыянськы. Наши диды й бабы, якъ думалы заручаты дитей, то перше йихалы зъ усею симъею на прощу до якого манастыря да молылысь Богу. Отъ Богъ дававъ дитямъ и здоровье, и таланъ на всю жизнь. Се дило святе: зробымо жъ и мы його по-предковськы“.

Знала Череваныха, що сказаты: такъ и осадыла Шрама, мовъ горщокъ одъ жару одставыла.

„Ну, брате Мыхайло“, каже винъ Череваневи, „благословывъ тебе Господь дочкою, да не обидывъ же й жинкою“.

„Га-га-га!“ каже Черевань. „Эге, бгате! моя Мелася не зневажыла бъ себе и за гетьманомъ“.

„По сій же мови да буваймо здорови!“ каже Череваныха, пиднисшы гостямъ по кубку.

„Щобъ нашимъ ворогамъ було тяжко! якъ добре мовляе мій сватъ“, каже Шрамъ.

„А диты наши нехай оттакъ выбрыкують!“ додавъ Черевань, брызнувшы съ кубка на стелю.

„Амины!“ каже Череваныха.

На тимъ и застряло сватання. Стари вже бильшь и не згадувалы, бо и въ Череваня, и въ Шрама була така думка, що ще поспіють съ козама на торгъ. Не такъ думавъ Петро: винъ заразы догадавсь, що Черев-

ваныха бѣе на якогось иного зятя; де й сама Леся йимъ гордуе. И вже йому тогда здалось, що нї для чого бильшь и на свити жыты; а на души така пала туга, така печаль, що й сказаты не можна!

Леся, выкрутившысь изъ того сватання, зныкла зъ свитлыци и не ввійшла на вечеру; а послѣ вечери заразы поросходылысь на спочынокъ.

Старого Шрама и Божого Чоловика положили въ свитлыци; а Петро, по-козацьки, лигъ у садку пидъ чыстымъ небомъ.

Не знаю вже, яково-то йому послѣ того сватання спалось. Якъ-же вернувся въ ранци до свитлыци, то Божого Чоловика вже не було въ компанїи: поплентався дидусь ище до схидъ-сонця изъ Хмарыща. Уси повдягались у довги подорожни сукни и ждали тилько старого Шрама. Той, стоя передъ образомъ, дочытувавъ своихъ молитовъ. По стинахъ и по полицяхъ у свитлыци не видно було бильшь ни дорогойи збройи, ни срибныхъ кубкивъ; бо въ тую непокійну старосвищину, одлучаючысь, не кыдай було плохо дома ничего, а ховай по тайныкахъ, по пидземныхъ скарбныцахъ.

Старый Шрамъ звеливъ сынови сидлаты кони; якъ ось и Васылъ Невольныкъ выйхавъ изъ-за садка зъ рыдваномъ. Погодивъ тогда Богъ козакамъ надрать у своихъ ворогивъ усячыны, що не одинъ старшына, мовъ якый дука, йиздивъ рыдваномъ. Блыщали мидяни, позолотыстыи гербы на рыдвани въ Череваня; мыготила въ очахъ дорога гороризьба—левы, струсевы пирья; булавы зъ бунчукамы; а тыхъ, може, перевелось и кодро, що симы гербамы вельчалысь...

Маты зъ дочкою сила въ рыдванъ; а Черевань не покидывъ такы козакованья — пойихавъ на прощу верхи. Шрамъ изъ нымъ державъ передъ того пойизду.

Петро хотивъ йихаты поручъ изъ верховымы, да й самъ не знавъ, якъ оставсь коло рыдвана, мовъ прывъязаный. Йиде сердега мовчки, и голову понурывъ. Дали, надумавшысь, и каже: „Паниматко! учора дило пйшло було на ладъ, да й розвязалось изъ твоеи ласкы. Не поправди вы изъ своею Лесею робыте. Я до васъ изъ щырымъ серцемъ, а вы до мене съ хытроцамы. Лучче бъ ужэ одризаты попросту, да й годи. Ну, що въ васъ на мысли? скажы, паниматко, щыро, чи думаешъ оддать за мене Лесю, чи въ тебе другой есть на прыкмети?“

„И есть, и нема; и нема, и есть“, каже сміючысь Череваныха.

„Що отсе въ васъ за загадки?“ ажъ скрыкнувъ зъ досады Петро. „Уже колы рваты, то рвы не дьоргавшы! Скажы мини, паниматко, щыро, кого вы соби маете на думци?“

„Э, паныченьку!“ каже Череваныха, „потрывай бо трошки: ще рано брать насъ на исповидь!“

Замовкъ Петро, понурывъ голову, а на выду поблидъ, мовъ хустка: доняла йому до живого Череваныха. Вже й сама Леся, зглянувшы на матирь, похытала головою.

Усмихнулась горда маты, да й каже: „Ну, козаче, колы вже тоби такъ пыльно прыпало, то отъ тоби уся история. Леся моя родылась у чудну планету: ще якъ я нею ходыла, прыснывся разъ мини сонъ дывенъ, дывенъ на прочудо. Слухай, козаче, та на усъ мотай.“

Здалось мини, нибы посередъ поля могыла; на могыли стоить панна, а одъ панны сѣе якъ одъ сонця. И зъйижджאותця козаки и славни лыцари зъ усього свиту — одъ Подоля, одъ Воляня, одъ Сиверы и одъ Запорожжя. Вкрылы, бачця, все поле, мовъ мака зацвилы по городахъ; вкрылы, да й стали бытысь одынъ на одынъ, кому буде та ясная панна. Бъютця день, бьютця другый, — якъ де не взявсь молодой гетьманъ на кони. Уси склонылысь передъ нымъ, а винъ до могылы, да й понявъ ясную панну. Такой-то бувъ мини сонъ, козаچه! Проходыть день, другый, — някъ його не забуду. Ударылась я до ворожкы. Що жъ ворожка? Якъ ты думаешь?”

„Я думаю тилько“, каже Петро, „що ты, паниматко, зъ мене глузуешь; отъ и все!“

„Ни, не глузую, козаچه. Слухай да на усь мотай, що сказала ворожка. „А що жъ“, каже, „пани? сей „тоби сонъ пророкуе дочку изъ зятемъ. Дочка въ тебе „буде на ввесь свить красою, а зять — на ввесь свить „славою. Будуть изъйижджатысь зъ усього свиту паны „й гетьманы, дывоватымутця краси твоеи дони, даро- „ватымуть ий срибло-злото, та ниhto и не обдаруе кра- „ще одъ суженого. Суженый буде ясенъ красою мижъ „усима панамы и гетьманамы: замисть очей будуть зори, „на лобу — сонце; на потылыци — мисяць.“ Такъ промовыла мини, вищуючы, стара бабуся. Якъ ось, справди, давъ мини Господь дочку — справдылось бабусыне слово: не вроку ий, не послидуца мижъ дивчатамы. Трошки згодомъ, зашумило по Вкрайини, закыцило мовъ у казани, и стали зъйижджатысь у Кывивъ паны да гетьманы, — справдылось друге бабусыне слово. Уси

дывовалысь на мою дытну, даровалы ій сережки, дороги перстени; тилько жъ нихто такъ не обдаровавъ іи, якъ той гетьманъ, що мини снывся. Дорожшый надъ усе подарунки бувъ його подарунокъ, и кращый надъ усе панство и лыцарство бувъ молодой гетьманъ: замисть очей—зори, на лобу—сонце, на потылицы—мисяць. Справдылося ще разъ ворожчыне слово. Усихъ панивъ и гетьманивъ затемнявъ винъ красою. И говорыть мини: „Не отдавай же, паниматко, свои дочки „ни за князя, ни за лыцаря; не буду женытысь, поky „выросте, — буду ій вирною дружиною.“ Дай же, Боже, и ты, Маты Божа, щобъ и се справдылося на щастя й на здоровье!“

Туть саме выйихалы воны изъ-за горы. Передъ нымы такъ и заблыщало, такъ и замыготило, такъ и замережыло церквамы, хрестамы, горами и будынкамы. Святый городъ сыявъ якъ той Ерусалымъ. Сонце ще не пиднялось высоко; такъ не то що церкви й хоромыны, да й зелени сады, и все, що загледило око въ Кыви, усе горило, мовъ парча золототканая.

Прочане перехрыстылысь и сотворылы молитву. А Петро йиде соби и не бачыть, и не чуетъ ничего: такъ опентала його Череваныха.



Глава четверта.



Весело й тяжко згадуваты намъ тебе, старый нашъ диду, Кывиве! бо й велька слава не разъ тебе осыяла, и велькыйи злыгодни на тебе зъ усихъ бокивъ збиралысь... Скилько-то князивъ, рыцарства и гетьманивъ добуло, воюючи за тебе, славы! скилько-то на твойихъ улыцяхъ, на тихъ старосвитськыхъ стогнахъ, на валахъ и церковныхъ цвынтаряхъ пролыто крови Хрыстыянськойи! Уже про тыхъ Олегивъ, про тыхъ Святославивъ, про тыйи ясыры Половецкыйи ничого й згадуваты. Ту славу, тыйи злыгодни выбыла намъ изъ головы безбожна Татарва, якъ уломывся Батый у твойи Золоти Ворота. Буде зъ насъ и недавнихъ спомянокъ про твою руйину.

Ище жъ отъ и дванадцяты литъ не наличывъ Шрамъ, якъ у той нещаслывый Берестецкый рикъ прыйшовъ до Кывива Радзивиль изъ Лытвынамы, усе попалывъ и пограбовавъ, а мищане, сившы на байдакы, мусылы до Переяслава втикаты.

Та люта пожежа ище не зовсимъ загладылась: куды не кынь окомъ, усюды выденъ бувъ по йй прослидокъ. На коморяхъ, на станияхъ, на огорожахъ, помижъ свижымъ деревомъ чорнютъ колодки, а инде гарный колысь садъ стойить пустыремъ незагороженный;



Се, мабуть, чоловікови давъ Богъ родыны, такъ на радощахъ частуе всякого, хтобъ ни йшовъ, або йхавъ ульцею. (Ст. 37).

на спустошалоу дворыщи стырчать тилько печи да ворота; а де, чи дилованне, чи щыть надъ воритьмы, чи яка хоромына, то все те нове, ище й дерево не посынило.

Смутно було дывытысь Шрамови на тыйи прызнакы пожежи. Тилько й красы було въ Кыиви, що церкви Божи, да городы съ червонымы макамы, да ще тыйи горы крутояри, зъ зеленымы покотамы.

Тогди ще трохы не ввесь Кыивъ мистывся на Подоли; Печерського не було зовсимъ, а Старый, або Верхній Городъ, послѣ Хмельныщыны безлюдовавъ. Де-негде стоялы по Подолу камяныци; ато все було деревяне: и стины зъ баштамы, кругъ Подола, и замокъ на гори Киселивци. Улыци булы узеньки, плуталысь то сюды, то туды; а инде замисть улыци майданъ, и ни хто його не забудовуе, и ничого на йому нема, тилько гусы пасутця.

Йидуть наши прочане по тыхъ закоулкахъ, ажъ дывлятця — посередъ улыци збылысь возы у купу. Шрамъ пославъ сына прочыстыть дорогу. Поскочывъ Петро до возивъ; гляне, ажъ за возамы, коло хаты, передъ ганочкамы, сыдыть юрба людей. Посередыни кылымъ; на кылыми пляшкы, чаркы и всяка страва.

Петро заразъ догадавъ, що се, мабуть, чоловикови давъ Богъ родыны, або-що, такъ на радощахъ частуе всякого, хто бъ ни йшовъ, або йихавъ улыцею. Юрба гостей зибралась уже чымаленька, и все булы мищане. Знати булы мищане разъ уже съ того, що не носылы шабель, — тилько нижъ коло пояса: одни паны да козаки ходылы пры шабляхъ. А въ-друге знати булы съ того, що пидперизувалысь по жупану, а кун-

туши носылы на-опашку (тогда було, колы не панъ, або не козакъ, то по кунтушу й не пидперизуйсь, щобъ инде носа не втерто). Ище жъ изъ того были вони знати, що не важылысь ходыть у кармазынахъ: ходылы тогда въ кармазынахъ тилько люде значни да шабляовани, а мищане одягальсь сыньо, зелено, або у горохвяный цвить; убогыйи носылы лычакову одежу. Черезъ те козаки дражнять було мищанъ *лычаками*, а мищане дражнылы козакивъ *кармазынами*.

Гости сыдили за трапезою не мовчки; балакалы такы й геть-то голосенько, що Петро мусывъ добре гукнуть черезъ возы добрыдень. Обернулось тогда до його дви, чи тры головы.

„Пане господарю!“ каже, „и вы, шановная громадо! просыть Поволоцькый Шрамъ пропуска черезъ таборъ“.

Скоро назвавъ Шрама, заразь де-яки повставалы, да й дывлятця; а господарь пизнавъ Петра, да й каже: „Де жъ той Шрамъ? це хиба десята доля старого Шрама“.

„Де тоби десята!“ пидхопылы, шуткуючы, гости; хиба сота!“

„И сотойи нема!“ закрычалы уси гурбою. „Хочъ тысячу такыхъ красныхъ жупанивъ изложы до-купы, то все такы не буде Шрамъ!“

Усы были ради съ такой выгадки; инши ажъ реготалы: клюкнулы вже зъ ранку добре. Якъ ось пидъйихавъ и самъ Шрамъ. Скоро загледилы його сыву бороду, заразь возы поодкочувалы геть и повыходылы до його назустричь. Господарь изъ пляшкою й чаркою попереду.

„Отъ нашъ старый Шрамъ!“ крычали мищане, „отъ нашъ батько!“

„Що се, Тарасе?“ каже тогди Шрамъ господареви (а господарь колысь бувъ у охочыхъ козакахъ у Шрама сурмачемъ) „супротивъ кого се ты заложывъ такой таборъ? Здаеця жъ, тыхо на Вкрайини?“

„Де тоби тыхо, пане полковныку, чи пан'отче?... я вже не знаю, якъ теперь тебе й вельчаты“, каже Тарасъ Сурмачъ. „Де тоби тыхо? Сьогодни народывсь у мене такой лыцарь, що ажъ земля затрусилась. Давъ мини Богъ сына, такого жъ, якъ и я, Тараса. Колы мышъ головы не одкусыть, то й винъ по-батькивськы трубытые козакамъ на прыступы; та й теперь уже трубыть на всю хату.“

„Нехай велькъ росте да щаслывъ буде!“ каже Шрамъ.

„Чымъ же тебе шануваты, вельможный пане?“

„Ничымъ не треба, Тарасе.“

„Якъ-то ничымъ?“ здывовавшысь каже Сурмачъ. „Хиба зарокъ положывъ?“

„Не зарокъ, Тарасе, а прыбувши до Кыива, всякъ Хрыстыянынъ повиненъ перше поклонитысь церквамъ Божымъ.“

Не такивськый же бувъ и Тарасъ, щобъ угомонывсь одъ разу. „Добродію мій“, каже, „любезный! колыбъ я знавъ, що така мини на старисть буде честь одъ пана Шрама, то врагъ мене визьмы, колыбъ я за-сурмывъ вамъ хочъ на одынъ прыступъ! Хиба жъ ты не радъ моему Тараскови, що не хочешъ попорськаты його пелюшокъ? Тоби, мабутъ, байдуже, чи выросте зъ його добрый козакъ, чи закорявие, якъ Жыдовча!“

„Радъ я йому зъ щырого серця“, каже Шрамъ, „пошлы йому, Господы, щастя й долю; тилько жъ не та пора теперь, щобъ гуляты на пидпытку“.

„Та на добре дило, добродію, завсегда пора. Дывысь, скилькы возивъ коло хаты! Нихто не одцуравсь моеи хлиба-солы. Иншый на ярмарокъ брався, иншый у гай по килля, иншый зъ пашнею до млына; та отъ же, колы прыпало пыльне дило, що треба привитаты нового чоловика, то нехай ярмаркуе соби хто хоче, нехай свини лазять у городъ, а жинка рве на соби волосся, тутъ ось треба запобигты, щобъ новому чоловикови не гирко було на свити жыты. Ато скаже: „Отъ „у мене батько сякый-такый бувъ! поскупывсь испра- „выты якъ слидъ родыны, а теперь и йижъ хлибъ „пополамъ изъ слизи!“

„Одумайсь, Бога рады, Тарасе!“ каже Шрамъ (уже йому докучыло слухаты п'яне верзякання). „Чи до речи жъ отсе чоловикови, прыйихавшы до церковь Божыхъ, до мощей святыхъ, застряты на хрестынахъ?“

„Та що ты, куме, коло його панькаешъ?“ сказавъ хтось изъ-боку товстымъ голосомъ: „хиба не знаешъ, що це таке е? Знай насъ, панивъ! отъ воно що! Сказано — кармазыны. Це бъ то вже нашъ братъ йимъ не кумпанія, — отъ воно що!“

Якъ сказавъ, то наче искру въ порошокъ укынувъ. Уси такъ и загорилысь, бо мищане вже давно на городове козацтво да на старшыну важкымъ духомъ дыхалы.

„Э, пекъ же його матери!“ закрычало десятеро разомъ, „такъ мы тилько тоди кумпанія кармазынамъ якъ треба выручаты йихъ изъ-пидъ кормыгы Лядської?“

„Пхе!“ каже господарь, „якого жь чорта намъ коло ныхъ панькаты?“

„Къ дьяволу кармазынивъ!“ загукала громада, роздрочывшысь, якъ бугайи. „Воны тильки вміють бряжчаты шаблями: а тоди де булы ци брязкуны, якъ безбожный Радзивиль загуркотавъ изъ гармать у городськи ворота?“

Закыпивъ же й Шрамъ, почувшы таки речи.

„А вы жь“, каже, „прокляти сологубы, де тогди булы, якъ Ляхы обгорнули насъ пидъ Берестечкомъ, мовъ горщокъ жаромъ? де вы тогди булы, якъ прыпеклы насъ зъ усихъ бокивъ, що трохи не половина вйська выкыпила? Вы тогди бряжчали не шаблями, а талярамы да дукатамы, що понабиралы одъ козакивъ за гныли пидошвы да диряви сукна! Га! а Радзивиль прыйшовъ, такъ вы, окаянныйи, не одвитовалы йому й разу зъ гарматы! Плюгавыйи страхополохы! оддалы самохить Радзивилови мисто и, якъ тыйи бабы, заголосылы: *згода!* Якъ-же запалавъ Кывъ, да почалы Лытвыны душыты васъ, що овечокъ, такъ хто пидскачывъ до васъ на пидмогу, колы не козаки? Бидолаха Джеджелій, изъ жменею тыхъ сиромыхъ, улетивъ у Кывъ, якъ голубъ у гниздо за шулякомъ; а вы пидперлы його, зайци никчемныйи? Дурень покійныкъ бувъ! Я не Лытву, я васъ бы сикъ да рубавъ, бисови диты! я васъ навчывъ бы бороныты, що одвоювалы вамъ козаки!“

„Якый гаспедъ одвойовувавъ намъ наше добре, опричь насъ самыхъ?“ крычали мищане. „Одвойовалы козаки!... Та хто жь булы и ти козаки, колы не мы сами? Це-то теперь, зъ вашойи ласкы, не носымо мы

ни шабель, ни кармазыну. Козацтво вы соби загарбалы, сами соби пануете, рыдванамы йиздыте; а мы будуй власнымъ коштомъ стины, палисады, башты, платы чыншъ, мыто и чортъ знае що! А чомъ же бы и намъ по-козацькы не прычепыты до боку шабли, та й не сыднты, згорнувши руки?“

„Козаки сыдятъ, згорнувши руки!“ каже Шрамъ. „Щобъ вы такъ по правди дыхалы! Колыбъ не козакы, то давно бъ васъ чортъ излызавъ, давно бъ васъ доси Ляхы зъ недоляшкамы задушылы, або Татарва погнала до Крыму! Безумныйи главы! да тилько козацькою одвагою и держытця на Вкрайини предся Русь и благочестыва вира! Дай йимъ усимъ казацьке право! Сказалы бъ вы се батьку Богданови: винъ бы якъ разъ потрощывъ объ вапи дурныйи головы свою булаву! Де въ свити выдано, щобъ увесь людъ живъ пры одному прави? Усякому свое: козакамъ шабля, вамъ безминъ да терезы, а поспильству плугъ да борона“.

„Колы усякому свое“, каже Тарасъ Сурмачъ (а пляшкою махае такъ, що ажъ горилка льетця), „колы усякому свое, то чомъ же намъ шаблю и козацьку волю не назваты своею? У козакивъ не ставало вйська — мы силы на кони; у козакивъ не було грошей — мы дали йимъ и грошей, и зброю; у-купи былы Ляхивъ, у-купи терпилы всяки прыгоды: а якъ прыйшлось до розквитання, то козаки zostалысь козакамы, а насъ у поспильство повернено! Що жъ мы таке? хиба мы не тыйи жъ козаки?“

„Хиба мы не тыйи жъ козаки?“ пидхопыла громада, позакладувавши изъ зневагою руки за поясы.

„Хто живъ изъ намы за панибрата, дакъ теперь гордуде нашымъ хлибомъ-силлю!“

Шрамъ не разъ почынавъ говорыты, такъ куды! галась той такъ и покрывае слова його.

„Та постривайте, постривайте, паны кармазыны!“ гукнувъ одынъ товстопыкый синьокаптанникъ, „швидко мы вамъ хвоста вкрутымо! не довго гордуватымете намы! Налетять зозули, що насъ не забулы.... Добри молодци не дадутъ намъ загынуты. Справымо мы вамъ *чорну раду*; тоди побачымо, хто яке матыме право“.

„Ого!“ каже Шрамъ, „онъ воно куды дило хылытця!“

„Ато-жь якъ?“ кажуть, стоячы козыремъ, мищане. „Не все тилько козакамъ на радахъ орудоваты. Схаме-нулысь и на насъ Сичови братчыкы“.

Да й оглянулысь на чубатого Запорозця. Запорожець сыдыть коло хаты, да мовъ й не винъ, мовъ и не чуе, що кругъ його наче море йграе.

„Эге-ге!“ каже тогди Шрамъ, „такъ се изъ Нызу такый витерь віе!“ да й догадавсь, що вже огню пидложено, уже тилько роздуть, то й зниметця пожежа по всій Украйини. Серце въ його зомлило, якъ змиркувавъ соби, що-то съ того може за лыхо уродытысь! Де дилась заразь и вся досада на мишанъ!

„Шановна громада!“ каже, „не думавъ же я й не гадавъ, щобъ Кыяне пошановалы оттакъ мою старисть! Чи давно жъ мы булы въ васъ изъ батькомъ Хмельныцькымъ? тогди вы съ хлибомъ-силлю выходылы до насъ назустричь, съ плачемъ и радостю насъ прывиталы; а теперь ось старого Шрама, що поручъ йихавъ изъ батькомъ Богданомъ, оттакъ зневажаете!“

„Пан'отченьку ты нашъ коханий!“ каже йому Тарасъ Сурмачъ, бо заразъ така мова його вгамовала, „кто жъ тебе зневажае? Чи це жъ проты тебе, батьку, говорытця? Е такыйи, що душать насъ, узявши за шыяку; а ты зъ-роду никому злого не заподіявъ. Не вважай на йихъ галасъ. Мало чого не буває, що п'яный спивайе! Йидь соби зъ Богомъ, поклонись церквамъ Божымъ, та й за насъ, гришныхъ, прочитай святу молитву“.

А Череванъ тымъ часомъ усе ждавъ, поky замовкнутъ, бо не любивъ нїякихъ сварокъ; да отто, якъ побачивъ, що вже почавъ той гоминъ утыхаты, выйхавъ изъ-за Шрама, да й каже:

„Ка'знае за що вы завелысь оце, бгати! Дайте тилько заглянуть намъ хочъ у одну церкву, а тогди я отутъ изъ вама сяду, и вже не знаю, хто перепче мене въ Кыви, опричь пана вїйта“.

Мищане вже взяли свое—зогнали трохи крыкомъ серце; а Череваня такы й любылы, и шановалы, бо бувъ козакъ друзяка: уже кому чи яка нужда, чи що, то зарятуе й вызволыть. Отъ и давай уже хотъ коло сього лестытись.

„Оце“, кажуть, „панъ, такъ панъ! Дай, Боже, и по викъ такыхъ панивъ! Нема въ його ни крыхты гордосты!“

„За те жъ йому Бигъ давъ такую золоту й панью“, казалы де-яки.

„За те жъ йому давъ и дочку краще маку въ городи“, добавылы ще иншьи.

„Ну пропустите жъ насъ, колы такъ“, каже Шрамъ.

„Пропустимо, пропустимо ясныхъ панивъ!“ сказавъ Тарась Сурмачъ, да й ростовпывъ своихъ гостей.

Розступылысь и дали пройхаты верховымъ и рыдванови.

Довго йихавъ Шрамъ, понурывшы голову: тяжело стало старому на души. Дали здыхнувъ важно, одъ сердца, да й каже, такъ нибы самъ до себе: *„Вскую прыскорбна еси, душе моя, и вскую смущаеши мя? уповай на Господа!“*

А Черевань, йидучы поручъ, прислухавсь, що винъ соби мымрыть, „Э“, думаетъ, „отъ же, мабуть, вражи лычаки справди допеклы йому. Треба його розважыты. — Бгате“, каже, „Иване! ударь ты лыхомъ объ землю! чого такы тоби журытысь?“

„Якъ чого?“ каже Шрамъ. „Хиба не чувъ, що на уми въ сихъ мугыривъ? Задумалы чорну раду Иродови души!“

„Та врагъ йихъ беры зъ йихъ чорною радою, бгате!“

„Отъ тоби на! А хиба жъ ты не бачышь, звидкы сей витерь вие? Се вже койить не хто, якъ проклятущый Иванецъ изъ Нызовыми комышыкамы. Такъ хиба намъ сыдиты, згорнувшы руки, колы огонь уже пидложено, и ось тужъ-тужъ пожежа схопытця по Вкрайини!“

„А що намъ, бгате, до Вкрайины? Хиба намъ ничого йисты, або пыты, або ни въ чому хороше походыты?“ Слава Тоби, Господы, буде зъ насъ, покы нашего вику! [Я, бувшы бъ тобою, сыдивъ бы лучше дома, та йивъ бы хлибъ-силы зъ упокоемъ, анижъ ми-

ни бытысь на старисть по далекихъ дорогахъ та сварытысь изъ мищанами“.

„Врагъ возьми мою душу!“ закрычавъ изъ сердца Шрамъ, „колы я ждавъ одъ Череваня такойи речи! Ты Барабашъ, а не Черевань!“

Що жъ бы вы думалы? Черевань такъ и помертивъ одъ сього слова.

„Що жъ оце ты сказавъ, бгатику!“ ледви промовывъ черезъ сылу.

„Те“, каже, „що, такъ якъ Барабашъ казавъ Хмельныцькому:

„Мы дачи не даемъ,
Въ вѣйсько Польске не йдемъ:
Не лучче бъ намъ зъ Ляхамы,
Мостывымы панамы,
Мырно проживаты,
Анижъ пѣты лугивъ потыраты
Своимъ тиломъ комаривъ годоваты?“

такъ оце й ты говорышь. Нехай гыне отчызна, абы намъ було добре! Нема жъ тобі теперь у мене другого призываща, якъ Барабашъ!“

„Бгате Иване!“ каже Черевань, а самъ ажъ тремтыть, „рокивъ десять назадъ, правовався бъ ты зо мною за це порохомъ та кулею. Теперь я вже не той, тилько жъ нехай врагъ визьме мою душу, колы я хочу зостатьця зъ такимъ паскуднымъ призывщемъ. Покажу я тобі, що я не Барабашъ: йиду зъ тобою за Днипро такъ якъ отъ сыжу на кони, — зъ жинкою, зъ дочкою и Васылемъ Невольныкомъ, и хочъ бы ты, якъ кажешъ, „для отчызны“ кынувсь изъ мосту въ воду, то й я за тобою“.

„Отсе, такъ по-козацькы!“ сказавъ Шрамъ, да ажъ печаль свою забувъ, якъ побачывъ, що въ Череваня ще не зовсимъ заснуло козацьке серце. „Дай же“, каже, „руку да обищайсь отъ передъ Братствомъ Сагайдачного, що держатымесь за мене у всякій доли“.

„Даю и обищю, бгате!“ каже Черевань, сміючысь: радъ бувъ, що розваживъ Шрама.

Тутъ вони саме прыбулы до Братства, що на Подоли.

„Ходимо жъ“, каже Шрамъ, „да помолымось, щобъ Господь допомигъ намъ у нашому доброму дили“.



Глава п'ята.



идко, може, есть на Вкрайини добра людына, щобъ изжыла викъ, да не була ни разу въ Къиви. А вже хто бувъ, то знае Братство на Подоли, знае ту високу зъ дзыгаркамы дзвиницю, муровану кругомъ ограду, ту пятыголову, пышно съ переднього лыця розмальовану церкву, тыйи высоки камяныци по бокахъ. Отъ'же рокивъ за двисти назадъ, тогди якъ отой-то Шрамъ бувъ у Къиви, все то було инше. Тогди ще стояла деревяна церква гетьмана Петра Сагайдачного; и ограда, и дзвиниця, и вси братськи школы—усе те було деревяне. У середины въ монастыри стоявъ тогди густый старосвитський садъ. Була-то колысь благочестыва пани, Ганна Гугулевычывна, що подаровала на Братство свій двиръ изъ садомъ; и на тому-то двори гетьманъ Сагайдачный церкву збудовавъ и монастырь Братський зъ школами устройивъ, щобъ тейе Братство дитей козачыхъ, мищанськихъ и всякихъ учыло, людянь у темноти розуму загынуты не давало.

Постояшы прочане наши въ церкви, подады срибла пан'отцямъ Братськымъ на школы, и прогаялысь геть-то, оглядуючы монастырь. А було тогди на що тамъ задывытысь. Прыдався одынь чернецъ на мальованья и пообмальовувавъ не то церкву, да й саму ограду

округы Братства, що вже де на яку дывовыжу, а въ Братство мыряне йшлы дывытысь на мальованне. Що тилько въ Быбліи пропысано, усе чернець той мовъ живе спысавъ скрызъ по монастыреви. То жъ святе саме по соби, ато такы й наше козацьке рыцарство було тамъ скрызъ по оградѣ помальоване, щобъ народъ дывывсь да не забувавъ, якъ колысь за батькивъ та за дидивъ діялось.

Бувъ тамъ намальованый и Нечай, и Морозенко. Кругъ його горять костелы й замкы, а винъ сиче-рубает, топче конемъ Ляхивъ зъ недоляшкамы. Ище и пидпысано: *Лыцарь славного вйська Запорозького*; а надъ Ляхамы: *А се проклятуци Ляхы*. Знаете, тогди ще Хмельныщина тилько що втыхла, такъ любывъ народъ, дывлячысь, спомынаты, якъ наши за себе оддячылы. А ченци соби любылы мырянамъ у голову задовбуваты, що нема въ свити ворога надъ католыка. Палы, рубай його, вывертай съ коренемъ, то й будешъ славенъ и хваленъ, якъ Морозенко.

Бувъ тамъ и козакъ Байда, що высивъ ребромъ у Туркивъ на гаку, а не зламавъ своєї виры. Такъ и те все тамъ помальовано, щобъ усяке знало, яки-то колысь булы рыцари на Вкрайини.

Бувъ и Самійло Кишка, що й доси про його спывають кобзари, якъ винъ попавсь у Турецьку неволю, и пятьдесятъ-чотыри роки бувъ на галерахъ у кайданахъ, за замкамы, якъ йому Господь допомигъ и себе, и товариства пивчвартаста вызволыты, и якъ, узавшы ту галеру, прыплывъ до козакивъ и корогвы хрещати давни у кышени козакамъ прывизъ—не зневажывъ козацькой славы.

Дывлятця наши на тыйи намальовани дыва, доходятъ уже до дзвинуцы, ажъ слушають—за оградою щось гуде, стугонить, наче гримъ гримить оддалеки, — и музыки йграють.

„Се“, каже ченчыкъ, що провожавъ йихъ по манастыреви, „се добрыйи молодци Запорозци по Кыиву гуляють. Бачте, якъ наши бурсаки - спудеи биять за ворота? Жадною мирою не вдержышь йихъ, якъ зачуютъ Запорозцивъ. Бида намъ изъ симы искусытелями. Найидуть, покрасуютця тутъ, погуляють; дывысь — половина бурсы и вродытця за Порогами“.

Тымъ часомъ музыки, галасъ, и тупотня пидходдылы все блыжче. Люде одынъ одного пхае да биять дывытысь на Сичовыхъ гулякъ. Тилько й чуты: „Запорозци, Запорозци зъ свитомъ прощаютця!“

Що жъ то було за прощанне зъ свитомъ? Була то въ Запорозцивъ гульня, на дыво всьому мырови. Якъ дожыве було который Запорожець до великой старосты, що войоваты бильшь не здужае, то набъе чересь дука-тамы да забере зъ собою прыятеливъ душъ трыдцять, або й сорокъ, да й йиде зъ нымы въ Кыивъ бенкетоваты. Дома, у Сичи, ходять у семряжкахъ да въ кожанкахъ, а йидять мало не саму соломаху, а тутъ жупаны на йихъ будутъ луданы, штаны изъ дорогой саеты; горилка, меды, пыва такъ за йимы въ куффахъ и йиздять, — хто стринетця, усякого частуютъ. Тутъ и бандуры, тутъ и гусли, тутъ и спивы, й скокы, и всяки выкрутасы. Отсе одкуплять було бочки зъ дьогтемъ, да й розильють по базарю; одкуплять, скилько буде горшкивъ на торгу, да й порозбывають на черепъе;



Се добрый молодци Запорозци по Кыву гуляють. (Ст. 50).

одкуплять скилько буде мажъ изъ рыбою, да й поро-
скыдають по всьому мисту: „Йижте, люде добри!“

А погулявши недиль изо дви да начудовавши
увесь Кывь, идуть було вже зъ музыкамы до Мижы-
горського Спаса. Хто жъ иде, а хто ~~зъ~~ прощальны-
комъ танцюе до самого монастыря. Сывый, сывый якъ
голубь, у дорогыхъ кармазынахъ, выскакуе, попереду
йдучы, Запорожець; а за нымъ везуть боклагы зъ на-
пыткамы и всяки ласоци. Пый й йижъ до своей любо-
сты, хто хочешъ.

А вже якъ прыйдуть до самого монастыря, то й
стукае Запорожець у ворота.

„Хто такый?“

„Запорожець“.

„Чесо рады?“

„Спасатыся!“

Одчынятця ворота, винъ увйде туды, а все това-
рыство и вся суета мырская, зъ музыкамы и скокамы,
и солодкымы медамы, останетця за воритьмы. А винъ,
скоро ввйшовъ, заразъ чересъ изъ себе и оддае на
церкву, жупаны кармазынови зъ себе, а надине воло-
сяну сорочку, да й почавъ спасатысь. Такъ-то роска-
зують стари люде про тыхъ прощальныкывъ.

Отъ же й теперь, передъ Шрамомъ да Череванемъ,
высыпалы воны зъ улыци, якъ изъ рукава, тан-
цюючы. Чупрындыри таки, що любо глянуты. Идучы
мымо церквы, покладалы хресты, былы поклоны, да
зновъ, схопывшысь, навпрыядкы, да черезъ голову,
да колесомъ! А бурсаки, повыбигавшы за ограду, дыв-
лятця на йихъ, да й плачуть.

„Не плачте, дурни!“ кажуть йимъ Запорозци:
„Днипро тече просто до Сичи....“

Дома въ себе воны, кажу, ходять було у дьогтяныхъ сорочкахъ да въ дырявыхъ кожухахъ-кожанкахъ, а тутъ повбиралысь у таки жупаны, що хоть-бы й гетьманови,—и все, щобъ тилько показаты передъ мыромъ, що Запорозцю тыйи сукна й блаватасы все одно, що й семряга. Заразъ, чи калюжу вбачыть де на дорози, такъ у калюжу й лизе въ кармазынахъ; чи шыритвасъ дьогтю зүздрыть, такъ и вскочыть туды зъ сапьянцямы. Хымерный дуже бувъ народъ!

Шрамъ, хоть и сердивсь на Запорозцивъ, да й самъ не постеригъ, якъ задывывсь на йихъ. Добрыи молодци багато инколы діялы людямъ шкоды по Вкрайини, да, мимо того, якось прыпадалы до души всякому. Не разъ доводылось мини самому слухаты, якъ иншый дидъ, споминаючы йихъ пакосты, зачне було йихъ кореныты, а дали, якъ заговорытця, якъ забалакаетця про йихъ звычайи да ходы, то й самъ не знае, чого йому й жаль стане сиромахъ, и зачне сыва голова гуторыты про ныхъ, якъ про своихъ родычивъ. Чымъ же то, чымъ тыйи Запорозци такъ прыпадалы до души всякому? Може, тымъ, що воны безпечне, да разомъ якось и смутно, дывылысь на Божый мыръ. Гулялы воны и гульнею доводылы, що все на свити суета одна. Не треба було йимъ ни жинкы, ни дитей, а гроши розсыпалы якъ полуу. Може, тымъ, що Запорожже испоконъ вику було серцемъ Украинськымъ, що на Запорожжи воля николы не вмирала, давни звычайи николы не забувалысь, козацьки предковични писни до послиду дней не замовкалы, и було те Запорожже якъ

у горни искра: якый хочъ, такый и розидмы зъ неи огонь. Тымъ-то, мабуть, воно й славне помижъ панами й мужыкамы, тымъ воно й прыпадало такъ до души всякому!

Черевань, дывлячысь на тыйи скокы й выкрутасы, ажъ ногою прытупувавъ, узявшысь у боки.

„Отъ, бгате“, каже Шрамови, „де люде вмiють жыты на свити! Колыбъ я бувъ не жонатый, то заразъ бы пишовъ у Запорозци!“

„Не знать що ты провадышь, свате!“ давъ йому одвить Шрамъ. „Теперь честному чоловикови стыдъ мишатысь мижъ си розбышакы. Перевернулысь теперь уже катъ знае на що Запорозци. Покры Ляхы да недоляшкы душылы Украйину, туды втикавъ що найкращый людъ зъ *Городивъ*; а теперь хто йде на Запорожье? або гольтыпака, або злодюга, що боитця шыбеныци, або дармойидъ, що не звыкъ заробляты соби насушного хлиба. Сыдятъ тамъ окаянныйи въ Сичи, да тилько пьянствуютъ, а очортiе горилку пыты, такъ и йиде въ Города, да тутъ велычаютця, якъ порося на орчыку. Цуръ йимъ изъ йихъ скокамы! Пойидьмо боржий у Печерський, ато не застанемъ на службу“.

Колы жъ тутъ хтось изъ-за плечей: „Овва!“

Обернувь Шрамъ, ажъ у його ззаду стоить Запорожець у кармазынахъ; стоить и смiетця.

„Овва!“ каже, „и оце бъ то наче й правда, а воно зовсимъ брехня“.

„Ироде!“ не стерпившы, гукнувь на його Шрамъ; да, схаменувшысь, де винъ, заразъ и перемигъ себе. „Цуръ тоби!“ каже, „опричь Божого дому“.

Да скорій до коня, да й поихавъ. Черевань изъ Петромъ за нымъ.

Череваныха тежъ поспишала до рыдвана, бо до Запорозця приставъ другый братчыкъ, и хотъ ничего ий не сказаны, да поглядалы на Лесю такъ хыжо, якъ вовкы на ягныцю.

Первый Запорожець бувъ здоровенный козарлюга. Пыка шырока, засмалена на сонци; самъ опасыстый; довга, густа чупрына, пиднявшысь перше въ-гору; спадала за ухо, якъ кинська грыва; усы довгы, у-нызъ позакручуваны, ажъ на жупанъ извысалы; очи такъ и йграють, а чорны, густыйи бровы ажъ геть пиднялысь надъ тымы очыма, и—врагъ його знае—глянешъ разъ: здаецця, супытця; глянешъ у-друге: моргне довгымъ усомъ такъ, наче заразъ и пидниме тебе на смыхъ. А другый бувъ молодой, высокый козакъ, тилько щось Азіятське; заразъ и выдно, що не нашого поля ягода, бо до Сичи сходылысь бурлаки зъ усього свиту: прыйде Турокъ, и Турка прыймають; прыйде Немець, и Немець буде Запорозцемъ, абы перехрыстывсь да сказавъ: „Вирую во Христа Исуса; радъ войоваты за виру Хрыстыянську“.

Зрадовалась Череваныха, якъ наздогнала своихъ, мовъ слобонылась одъ якои напасты. Отъ и поихалы вси черезъ Верхній Городъ, а дали Михайловською Стежкою черезъ Евсійкову Долину, на Печерську гору. А по Печерській гори росла тогди скрызъ дыка пуща. Дорога черезъ ту пущу була дуже трудна: то крутылась помижъ деревомъ, то спускалась у байраки, то обходила кудлатыйи кучугуры. Рыдванъ, що дальшъ, усе отстававъ отъ верховыхъ; а Петро, послы тыхъ

чудныхъ Череванышыныхъ ричей, не державсь уже жиночого боку. Осталысь наши прочанкы тилько зъ Васылемъ Невольныкомъ.

Ажъ ось, зъ обохъ бокивъ дороги закопотилы кони, затрищало сухе гилля пидъ копытамы, и показалысь кризь зелену лищину кармазыны. Йихъ наздогнали Запорозци, — тыхъ двое, що одризнылысь коло Братства одъ прощальныкивъ.

Череваныха зъ дочкою сами не знаютъ, чого злякалысь. Бо си гультайи йидуть не по-людськы: не глядятъ и дороги, а такъ куды здря и мчатця по гаю; тилько все крутятця помижъ деревомъ коло рыдвана; не попережують, и ззаду не остаютця. А кони наче знаютъ, чого симъ шыбай-головамъ хочетця: скачуть якъ козы то сюды, то туды помижъ кущамаы. Ажъ страшно було дывытысь, якъ та дыка степова животына дряпаецця копытамы на кручу, то отсе съ кручи кынетця въ провалле, и не выдно їи стане, тилько глухо тупотыть и хропе у байраци. Наши не разъ уже думалы, що кинь перекинувсь назадъ и задавывъ йиздця пидъ собою; ажъ ось йиздець, якъ выхоръ, выскочыть зновъ на кучугуру, да й зайграе на сонци кармазынамы.

Такъ пурынаючы да крутячысь, мовъ не передъ добромъ, Запорозци переклыкалысь черезъ дорогу, якъ хыжыйи орлы, и повелы таку розмову, що въ нашихъ прочанокъ и души не стало.

„Отъ, брате, дивка!“ гукне одынъ. „Нехай я буду шмать грязи, а не лыцарь, колы я думавъ, що е на свити таке дыво!“

„Эге, е сало, та не для kota!“ озветця другый черезъ дорогу.

„Чомъ же не для kota? Хочешъ, заразь поцилую?“

„А якъ поцилуютъ коло стовпа кыямы?“

„Що мини кыйи! Та нехай мене хочъ заразь рознесуть на шабляхъ!“

Леся боялась, щобъ справди винъ не напавсь на неи; ажъ тутъ на дорози байракъ. Запорозци такъ и кынулысь туды, якъ тыйи демоны.

„Васылю!“ каже тогди Череваныха, „куды отсе мы зайихалы? що отсе зъ нами буде?“

„Не бійся, пани“, каже всмихнувшысь Васыль Невольныкъ: „добри молодци тилько жартуютъ. Вони зъ-роду дивчатъ не займають.“

А Череваныси щось дуже сумно. Звелила йихаты швыдче, щобъ наздогнать свойихъ. Якъ ось Запорозци зновъ по бокахъ дороги. Жупаны позабрызкували въ грязь у байраци, да йимъ про те байдуже.

„Гей, брате Богдане Черногоре!“ гукне знову старшый, „знаешъ, що я тоби скажу?“

„И вже!... путнього не скажешъ, прылыпнувши до бабы.“

„Отъ же почувешъ одъ мене таке, шо ажъ облыжесся!“

„Ого!“

„И не ого! Ось слухай. Хочъ Сичъ намъ и маты, а Великый Лугъ батько, да для такой дивчыны можна покынуты и батька й матирь.“

„Чи вже бъ то?“

„Ато що хйба?“

„Куды жъ тогди?“

„Овва!“

Тутъ Запорозци зновъ исчезлы, якъ мара. Маты й дочка думалы, що въ йихъ исправи щось недобре на думци; а Васыль Невольныкъ похытавъ головою, да й каже:

„Що за любый народъ оци братчыкы! Охъ, бувъ и я колысь такимъ выгадчыкомъ, покы лита не прыборкалы та проклята неволя не прымучыла! Гасавъ и я, якъ божевильный по степахъ за кабардою; выгадувавъ и я усяки выгадки; знали й мене у *Городахъ* и на *Степахъ*, знали мене шинкари й музыкы, знали паны и мужыкы, знало лыцарство й хлиборобы!“

„Ще я не таке скажу тобі!“ гукнувъ, якъ изъ бочки, Запорожець.

„Було бъ съ тебе й сього“, одвитовавъ другый, якъ-бы почувъ батько Пугачъ: одбывъ бы винъ у тебе хутко до бабъ охоту!“

„Ни, такы справди, Богдане. Який врагъ шутковатыме, якъ увипъютця чорни бровы, наче пъявки, у душу? Хочъ такъ, хочъ сякъ, а дивчына буде моя! Чи знаешъ, шо?“

„А шо?“

„Подывытьця бъ, шо тамъ у васъ за горы!“

„Оттакои!“

„Такои, брате! Нехай не дурно запрошувавъ ты мене до своихъ, войоваты Турка. Колы хочъ, ухопымо *дивойку*, та й гайда въ Чорну Гору!“

„И ты оце по-правди говоришь?“

„Такъ по-правди, якъ я Кырыло Туръ, а ты Богданъ Черногоръ. Зъ такою дивкою за сидломъ, помчався бъ я хочъ и къ чорту въ зубы, не то до Черногорцивъ“.

Оттакъ тыйи каверзныкы змовлялысь у-очевыдыкы на гвалтовный учынокъ, и ни хто не розибравъ бы, що справди въ йихъ на думци. Шаленый бувъ народъ! Усе йому дурныця: чи жыть, чи вмерты — йому бай-дуже; що людямъ плачь, те йому играшка. Тымъ-то Череваныха й боялась, щобъ лукавый не пидкусывъ палыводъ на яку пакость. Ажъ ось стали наздогонять свойихъ. Запорозци бачать тогда, що ба! да й зныклы зъ очей, якъ той сонъ, що чоловікъ жахаецця, му-чытця, колы жъ гляне, ажъ и нема ничего.



Глава шоста.



то бѣ то мавъ таке слово пышне да красне, щобъ такъ якъ на картыни змальовавъ той манастырь Печерскый? щобъ хто й не бувъ изъ-роду въ Къйви, такъ щобъ и той, чытаючы, мовъ бачывъ на свои очи тыйи муровани ограда, ту высоченну дзвинуцю, тыйи церкви пидъ золотомъ да пидъ скульптурою? Се жъ то воно такъ теперь; а рокивъ двисти назадъ треба було слова тихого, понурого, щобъ розказаты, якъ тогди знаходывсь манастырь Печерскый Далось и йому въ знакы Батыйовське лыхолиття. *Велька церква*, що пропысана въ литопысяхъ „небеси подобною“, зруйнована була по викна. Хоть-же князь Олельковычъ Симеонъ пиднявъ ии зновъ изъ руинъ, тилько далеко ий було до стародавньоїи липоты. Не було ни срибла, ни золота, що теперь сыяе по Лаври всюды; усе було тогди убогенько.

Э, да булы скрызъ по стинахъ у Велькый церкви помальовани князи, гетьманы, воеводы благочестывыйи, що тую церкву боронылы й пидпыралы. Теперь бы дорого далы мы, щобъ йихъ узриты! А въ-нызу поузь стинъ скрызъ булы надгробкы тыхъ велькыхъ людей, того рыцарства православного. И того ничого вже немае!...

Выстоявши службу, Шрамъ ходивъ изъ своимы одъ одного надгробка до другого. Тутъ чытавъ, що оттакый-то „Симеонъ Лыко, мужъ твердый вирую и хоробрый, почывъ по многихъ славныхъ подвыгахъ“. А тамъ--буцимъ озывавсь до його съ того свиту пышный князь золотымы словами: „Многою сыявъ я“, каже, „знатностью, властью и доблестыю, а якъ умеръ, такъ зъ убогымъ старцемъ зривнявся и за шыроки свои ланы симъ ступнивъ земли узявъ. Не дывуйся“, каже, „тому, чытачу, бо й тоби те жъ буде: неривнымы на свить нарожаемось, а ривнымы вмираемо.“ А тамъ ище якый-небудь панъ просыть, хто чытатыме пидпысь, то промовъ, каже, идучы мимо, благе слово: „Боже! мылостывъ буды души раба Твоего.“ Хто бъ и не пысьменный бувъ, такъ дывлячысь тилько на ти шабли, на ти панцеры, бунчуки и всяки клейноды, перемишани съ кисткамы, зъ Адамовымы главамы, що повыроблювано гороризьбою зъ миди да зъ каменю по-надъ тымы надгробкамы,—хто бъ, кажу, бувъ и не пысьменный, такъ и той бы догадавсь, протывъ чоґо-то воно такъ выкомпоновано: усяке багатство, усяка слава — усе воно суета суеть: и шабля й булава зъ бунчукомъ и горностайова кырея поляжуть колысь поручъ изъ мертвымы кисткамы.

Отъ же й Шрамъ, розглядуочы ту гороризьбу да чытаючы епитафii, засмутывся душею да й каже:

„Колыко-то гробивъ, а вси жъ то тыи люде жылы на свити, и вси пийшлы на судъ передъ Бога! Скоро й мы пийдемъ, де батькы и диды наши“.

Да погадавши такъ, вынявъ изъ-за пазухы шыро-злотый обушокъ, що одбывъ колысь на войны у Лядсь-

кого пана, чи въ недоляшка, да й повисывъ на рызи въ Богоматери.

Изъ Великой церкви повернули наши прочане до пещерь; колыжъ дывлятця — иде зъ пещерь протывъ йихъ хтось у дорогыхъ кармазынахъ, высокый й вродливый; а по кармазынамъ скризь комиръ и полы гаптовани золотомъ; зверху кырея пидбыта соболемъ; пидпыравсь срибною булавою. А за нымъ купа людей чымала, усе въ кармазынахъ да въ саетахъ. Ченци йихъ провожалы.

Шрамъ ажъ затремтивъ, якъ глянувъ. „Боже мій!“ каже, „да се жъ Сомко!“

А той соби зрадивъ, побачывшы Шрама.

Обнялись, поциловались и довгенько держалы одынь одного обнявшысь.

Дали привитавсь гетьманъ и зъ Череванемъ.

Черевань такъ зрадивъ, що ничего й не змигъ сказаты на гетьманське привитання, да вже обнявшысь промовывъ тилько: „А, бгатику мій любезный!“

Череваныху назвавъ гетьманъ вытаючысь ридною ненею. Вона ажъ помолодшала, и вже нащобетала йому всячыны.

„А ось и моя наречена!“ сказагъ Сомко, обернувшись до Леси. „Вамъ, ясная панно, чоломъ до самыхъ нижокъ!“

И взявъ ии за руку, и поциловавъ якъ дытыну.

„Давно мы“, каже, „не бачылысь за вйськовыми чварами, да ось немовъ Господь насъ изведе на-викы до-купы.“

Леся почервонила да ажъ нахылылася, якъ повна

квитка въ травы, и прыгорнулась до матери, обнявши ии руку.

Тутъ-то вже Петро мій догадавсь, що за гетьманъ снывся Череваньси. У йихъ, мабуть, давно вже було зъ Сомкомъ положено. Дивно тилько здалось йому, що Черевань про те а ни гадкы; да, выдно, се така була пани, що справлялась и за себе, и за чоловіка.

Теперь уже ничего було думаты про Лесю Петрови. Хоть винъ бувъ и значный козакъ, да не протывъ гетьмана; хоть винъ бувъ юнакъ уродливый, да не протывъ Сомка. „Сомко бувъ воинъ уроды, возраста и красоты зило дивнои“ (пышуть у летописяхъ), бувъ высокый, огрядный соби панъ, кругловыдый, русавый; голова въ кучеряхъ, якъ у золотому винку; очи ясни, весели якъ зори; и вже чи ступыть, чи заговорыть, то справди по-гетьманськы. Такъ куды вже изъ нымъ мирятысь Петрови!

Не пустывъ Шпрама Сомко у пещери; завернувъ до себе зъ усима на козацьке подвиръе. А козацьке подвиръе було не въ-купи зъ манастыремъ; бо мырянамъ здумаеця гримнуты иногди й лышний разъ кубкомъ, або загомониты буйнымы ричамы; такъ, щобъ не вводылы брати въ искушеніе, стоявъ на одшыби про такый случай хуторець. Туды Сомко повивъ своихъ гостей.

Увійшли у свитлицю, а тамъ уже все готове на столи до обиду.

Шпрамъ ище разъ обнявъ Сомка.

„Сокиль мій“, каже, „ясный!“

„Батько мій ридный!“ каже Сомко, „я здавна прывыкъ зваты тебе батькомъ!“

Тогди Шрамъ сивъ конецъ стола, пидперъ рукамы сиву голову и гирко заплакавъ.

Уси засмутылысь. Здывовався гетьманъ. Знавъ винъ Шрамову тугу натуру; самъ бувъ прытомень, якъ прынесли до Шрама козаки сына, симъ разъ наскризь пробытого кулямы. Старый попрощавсь изъ мертвымъ тиломъ мовчки, и безъ плачу й жалю поблагословывъ на погребъ. А теиерь ось ильетця сльозамы, мовъ на похоронахъ у Хмельныцького, на тыхъ смутныхъ похоронахъ, що три дни грималы самопалы, три дни сурмылы смутно сурмы, три дни лылысь козацькыйи сльозы.

„Батко мій!“ каже гетьманъ, прыступившы до Шрама, „що за беда тоби склалась?“

„Мини!“ каже, пиднявшы голову, Шрамъ. „Я бувъ бы баба, а не козакъ, колыбъ заплакавъ одъ свого лыха“.

„Такъ чого жъ, Бога рады?“

„А хиба жъ ничего?.. У насъ окаянный Тетера торгуецця зъ Ляхамы за Хрыстыянськи души, у васъ десять гетьманивъ хапаецця за булаву, а що Вкрайна розидрана на-двое, про те усимъ байдуже!“

„Десять гетьманивъ, кажешъ? А нехай хоть одынъ за неи вхопытця, помы я держу въ рукахъ!“

„А Иванецъ? а Васюта?“

„Васюта старый дурень; зъ його хымеры сміютця козаки; а Иванецъ гетьмануе тилько надъ пъяныцямы. Давно я потоптавъ бы сю ледарь, да тилько честь на соби кладу!“

„Такъ, ледарь-то воны, ледарь; да й не дають твой гетьманській зверхности розшырятысь по Вкрайини!“

„Хто тобі сказавъ? Одъ Самары до Глухова, вся старшина зове мене гетьманомъ; бо въ Козельци на ради уси полковныкы, асаулы, сотныкы, уси значни козаки прысягли мене слухаты“.

„Аже жъ сьому правда, що Васюта подавъ у Москву лысть протывъ твого гетьманства?“

„Правда, и якъ-бы не сыва голова Васютына, то зробывъ бы я зъ нымъ те, що покійный гетьманъ изъ Гладкымъ“.

„Ну, и тому правда, що Иванця въ Сичи огла-сылы гетьманомъ?“

„И тому правда; такъ що жъ? Хиба не знаешъ юродства Запорозького? У йихъ, що ватажокъ, то й гетьманъ“.

„Знаю я його добре, пане ясновельможный! тымъ-то й боюсь, щобъ вони не заподіялы тобі якои пакосты. Окаянна сирома нышпорыть усюды по Вкрайини, да баламутыть головы поспольству. Хиба не чувъ ты поголоскы про чорну раду?“

„Хымера, батько! козацьке слово, хымера! Нехай лышь выйдуть у Переяславъ царьски бояре, побачымо, якъ та чорна рада устойить протывъ гарматы! Запорозьцивъ тогда я здавлю якъ макуху, гетьмана йихъ поверну въ свынопасы, а дурну чернь навчу шановаты гетьманськую зверхность!“

Подумавъ Шрамъ, да й каже: „Одъ твоихъ ричей дуца моя оживае, яко злакъ отъ Божой росы. Тилько смущае мене, що Запорозьки гультайи баламутять не одно сильске поспильство, бунтують вони й мищанъ протывъ козацтва.“

„Знаю й се“, каже Сомко, „и, правду тобі ска-

заты, воно мини й дармо. (Нехай нашъ казанъ запыть ище й зъ другого боку, щобъ изварылась каша.) А то козаки дуже вже розопсилы: „Ось мы-то люде, а то все грязь! Нехай годуе насъ поспильство, а наше козацьке дило — тилько по шынкахъ викна да пляшкы быть“. Потурай тилько йимъ, то якъ разъ заведуть на Вкрайини шляхетський звычайи, и заколотятъ мыромъ не згирше. Уже жъ здаеця, Польща насъ добре провчыла, уже пора намъ знаты, що нема тамъ добра, де нема правды. Ни, нехай у мене всяке, нехай и мищанынь, и посполытый, и козакъ стоить за свое право; тогди буде на Вкрайини и правда и сыла“.

Шрамъ за си слова обнявъ и поцеловавъ гетьмана.

„Дай же“, каже, „Боже, щобъ твоя думка стала думкою всякого доброго чоловика на Вкрайини!“

„И дай, Боже“, додавъ Сомко, „щобъ обидва береги Днипровыйи прыклонылысь пидъ одну булаву! Я отсе скоро одбуду царськихъ бояръ, хочу йты на окаянного Тетеру. Выженемъ недоляшка зъ Украйины, одтыснемъ Ляхивъ до самой Случи, да держачысь за руки зъ Москвою, и громытымемъ усякого, хто покусытця ступыть на Руськую землю!“

Шрамъ ажъ помолодшавъ одъ такой речи.

„Боже велькый! Боже мылосердний!“ каже, протягшы руки до образа, „положывъ есы йому въ душу мою найдорожшу думку, поможы жъ йому й доказаты сю справу!“

„Годи жъ уже про вельки дила“, каже Сомко, „давайте ще про малыи. *Не добро буты чоловику единому.* Треба, щобъ у гетьмана була гетьманша. Отъ же ознаймую передъ усима, хто тутъ есть, що давно

вже зложывъ руки зъ панією Череваныхою за її дочку Олександрю. Теперъ благословы насъ, Боже, ты, пан'отче, и ты, паниматко!“

Да такъ говорячы, узывъ за руку Лесю, да й поклоннылысь обое батькови й матери.

„Боже васъ благословы, диткы мои!“ каже Череваныха“.

А Черевань щось хоче сказаты, да не зможе вымовыты й слова, а тилько „Бгатику!“ да й замовкне.

Шрамъ глянувъ на свого Петра, а Петро стойть коло викна, билый якъ крейда. Може, старому й жаль стало сына, тилько не такый Шрамъ бувъ батько, щобъ давъ кому догадатыця.

„Що жъ ты насъ не благословляешъ, пан'отче?“ каже Сомко Череваневи.

„Бгатику“, каже Черевань, „велька мини честь оддаты дочку за гетьмана, тилько всна вже не наша, а Шрамова: учора въ насъ було пивъ заручынъ“.

„Якъ же се такъ сталось, паниматко?“ обернувсь тогда Сомко до Череваныхы.

Вона хотила вымовытысь; но Шрамъ прыпынывъ її, взявши за руку, и рече: „Ничого тутъ не сталось, пане ясновельможный! Я сватавъ Лесю за свого Петра, не знаючы про вашъ укладъ. А теперъ лучче я свого сына оддамъ у ченци, нижь бы ставъ тоби зъ йимъ на дорози! Нехай благословыть васъ Богъ, а мы соби ще найдемъ. Сього цвиту, кажуть, багато по всьому свиту“.

„Ну, будь же ты въ мене за ридного отця, и благословите насъ у-купи“.

Тогда Шрамъ ставъ поручъ изъ Череванемъ; ди-

ты йимъ уклоньлысь до земли; воны йихъ и благословылы.

Якъ ось пидъ викномъ хтось: *Пу-гу! пу-гу!*

Сомко усмихнувсь: „Се, каже, „нашъ юродывый Кырыло Туръ“.

Извеливъ одвитоваты по-Запорозькы: *Козакъ зъ Лу-гу!* бо Запорозци здоровкалысь, мовъ хыже птаство на степу.

„Не знаю, сынку“, каже Шрамъ, „що за неволя тоби водытьця зъ сими пугачама. Городовому козакови треба стерегтысь йихъ, якъ огню“.

„Правда твоя, батько“, каже Сомко; „Нывовци зледащилы послы Хмельныцького, а все такы мижъ нумы есть люде драгоцінныи. Отъ хоть-бы й отсей Кырыло Туръ. Не разъ винъ мини стававъ у великій прыгоди. Добрый воинъ и душа щыра, козацька, хотъ удае зъ себе ледащыцю и характерныка. Да вже безъ юродства въ йихъ не буває.

„Щобъ йихъ лыхый злызавъ изъ йихъ юродствомъ!“ каже Шрамъ. „Йимъ усе смишки! Не разъ и самому Хмельныцькому пидносылы воны гиркою“.

„А все такы не скажешъ, батьку, щобъ и мижъ нумы не було добрыхъ людей“.

„Грихъ мини се сказаты!“ одвитуе Шрамъ. „Разъ, чатуючы зъ десяткомъ козакивъ у поли, попавсь бувъ я у таку западню, що безъ ихъ якъ разъ полигъ бы головою. Обскочылы мене кругомъ Ляхы. Уже насъ осталось тилько четверо; уже пидо мною й коня вбыто; я одбываюсь стоя. А йимъ, окаяннымъ, хочетця взяты мене живцемъ, щобъ поглумытысь такъ якъ надъ Налывайкомъ и иншымы бидолахама. Колы жъ тутъ

звидкы ни визьмысь Запорозци: *Пу-гу! пу-гу!* Ляхы въ ростичь! а було йихъ изъ сотню. Дывлюсь, а Запорозцивъ нема й десятка“.

„О, мижъ нмы есть добри рыцари!“ каже Сомко.

„Скажы лучше, сынку, булы, да загулы. Перевелысь теперь рыцари въ Сичи: зерно высіялось за войну, а въ кошу осталась сама полова“.

„Овва! гукнувъ тутъ на всю свитлыцю Кырыло Турь, показавшысь у дверяхъ.

Увійшовъ у хату, не знимаючы шлыка, узявсь у боки да й дывытця на Шрама, покрывывшы губу.

Шрамъ такъ и загоривсь.

„Що то за овва?“ каже, пидступывшы до Запорозця.

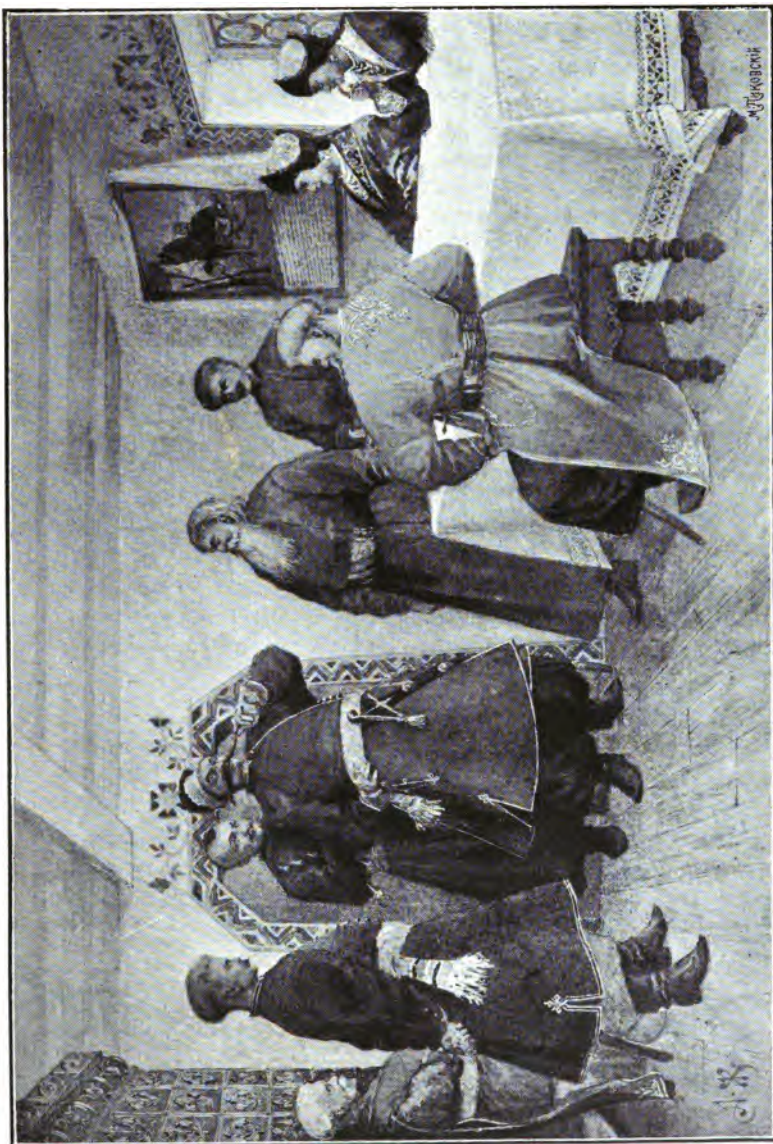
А той изновъ: „Овва, пан’отче!“ да й заложывъ за ухо ливого уса (се бь то—знай, не боюсь тебе).

„Перевелысь?“ каже, „де тоби перевелысь? Хиба жь дармо спивають:

„Течуть ричкы зь всього свиту до Чорного моря?“

Якъ вода въ Чорному мори не переведетця, покы свить сонця, такъ и въ Сичи до вику вичнього не переведутця лыцари. Зь усього свиту злитаютця вони туды, якъ орлы на недоступну скелю... Отъ хочъ-бы й мій побратымъ... та не про його теперь ричь. Чоломъ тоби, пане ясновельможный! (Тогды вже знявъ шлыкъ). Чоломъ вамъ, панове громадо! Чоломъ и тоби, пане полковныку! Ну, дакъ якъ же ты вернувсь до табора, не маючы коня?„

„Ироде!“ сказавъ Шрамъ, гризно насупывшы на



„Оваа!“ гукнувь тутъ на всю свитлицю Кырыло Туръ, показавшись у дверяхъ. (Ст. 68).

ТАПОГРАФИЯ Е. И. ВЕСЕЛНОВА ШЕДЕСЬ.

його бильйи бровы, „колыбъ не таке мисто, то навчывъ бы я тебе шановатысь!“

„Се бъ то вынявъ шаблюку та сказавъ: „А ну, Кырыло, помиряемось, чья довша?“ Козацьке слово, я отдавъ бы шалевый свій поясъ за такую честь! Та сього зъ-роду не буде! Лучче, колы хочъ, розрубай мене на-двое, одъ чуба до матни; а я не зниму руки на твои прамаы и на твою рясу!“

Знавъ бо, що й сказаты Запорожець. Заразъ старый и вгамовавсь.

„Чого жъ ты“, каже, „осо, одъ мене хочешъ?“

„Ничого бильщъ, роскажы тилько, якъ ты добравсь пихтурою до табора“.

„Пьфу! сатано!“ каже тогди Шрамъ усмихнувшись. „Роскажу, тилько не доводи мене до гриха. Отто й порозбигалысь икъ нечыстй матери Ляхы; а ватажко тогди: „Э, батьку! да се въ тебе коня нема?... Братчыкы, добудемо йому коня“, да й прыпустывъ за Ляхамаы“.

„Що жъ, добулы?“

„Добулы вражи диты; вернулись изъ добрымъ мериномъ. Здывовалысь мы тогди съ козакамаы. Якъ же й не здывоватысь, що въ самыхъ кони потомлени, а жеребця такого доскочылы, що такъ и йграе на поводи?“

„Эге! знай нашихъ! нашъ братъ не спроста воюе: часомъ Низовець и чортомъ орудуе“.

Такъ говорывъ Кырыло Туръ, розглажуючы усы и поглядаючы на всю компанію! а очи таки лукави, що разомъ, здаеця, й щыро говорыть, разомъ и морочыть.

„Да и въ мене самого“, каже Шрамъ, „така думка, що тутъ безъ нечыстои сылы не обійшлось. Пытаю:

„Якъ вы доскочылы такого огыра?“, — „Намъ тее зна- ты, батьку. Сидай да йидь соби зъ Богомъ: Ляхы не за гороку; часомъ жахъ у йихъ проходить швыдче одъ похмилля“.

„Ага! у насъ такъ!“ каже Кырыло Туръ; „наши не кудкудахчуть, изнисшы яечко. А воно було ось якъ. Прыпустылы братчыкы за Ляхамы; а Ляхы огледылысь, що йихъ женетця жменя, та й зупынылысь. Поку жъ вони до мушкетивъ, а отаманъ прыцилысь, та и влучывъ йихъ ротмыстрови якъ разъ мижы очи. Ляхы тогди въ ростычъ! а я за коня... чи то бакъ отаманъ за коня!...“

„Що за вража маты!“ каже тогди Шрамъ, протыраючы очи. „Да се жъ ты, бачу, самъ и отаманъ?“

Зяпорожець тогди въ реготъ.

„Ага“, каже, „пане полковнику! такъ-то ты шануешъ давнихъ прятелывъ?“

„Ну, выбачай, братику“, каже Шрамъ, обнявшы його! „Чи не росколлы Ляхы мини головы шаблямы да келепамы: щось не держытця въ йй память!“

„А що жъ отсе мы такъ заговорылысь?“ озвавсь Сомко. „Давно пора по чарци да й за стиль“.

„Отъ, бгатци, розумна ричъ, такъ-такъ!“ каже Черевань. „Я такъ отощавъ, не йившы зъ ранку, що й радуватись не здужаю“.

Выпывъ Кырыло Туръ горилкы да й каже: „Уже жъ, пане ясновельможный, не оставъ твоею ласкою и мого побратыма“.

„Не оставымъ“, каже Сомко. „Я знаю, що винъ шаблю ворочае лучче, нижъ языкомъ“.

„Не дывуйсь, пане гетьмане, що винъ мовчыть,

наче воды набравъ у ротъ: винъ у мене зъ далекои земли, ажъ изъ Чорной Горы, —десъ ажъ за Венграмы. Теперъ такы наломывсь балакаты по-козацькы, а скоро прыйшовъ до насъ, то насмишывъ братчыкывъ своею мовою: усе тилько *бре та море!* А добрый юнакъ, о, добрый! Одынъ хиба Кырыло Туръ йому въ юнацтви ривня. Тымъ я никого й не люблю такъ, якъ себе та його!“



Глава съома.



Сомко почавъ сажаты гостей своихъ за довгый стиль. Шрама й Череваня посадивъ на покути, самъ сивъ на хазяйському мисти, конецъ стола, а Череваныху й Лесею посадивъ на ослони. Запорожець прымостывсь на задньому конци стола изъ своимъ побратимомъ.

Шрамовому Петрови прийшлось сыднты поручъ изъ Лесею, хоть винъ бы теперь радъ бувъ одгородытысь одъ неи горами й морямы. Що тамъ не выгадувавъ той Запорожець, якъ тамъ ни потишались гости изъ тыхъ выгадокъ, винъ сыдивъ за столомъ, наче въ гаю.

„Ну, скажы жъ мини, пане отамане“, пытае Сомко въ Кырыла Тура, „якимъ витромъ занесло тебе въ Кывивъ?“

„Самымъ святымъ, пане ясновельможный“, одвитававъ Запорожець: „провожаемъ прощальныка до Мижыгорського Спаса“.

„Чого жъ се ты одбывсь одъ свого товариства?“

„Потрывай, пане гетьмане, роскажу все по ряду; дай перше промочыты гортань. Тилько въ васъ таки никчемни кубкы, що ни вви-що гараздъ и налыты. Святе дило наши Сичови корякы! у нашому коряци утопышь иншого мызерного й Ляшка“.

„Пгавда, бгате, ій—Богу, пгавда!“ озавсь Черевань. „Я давно кажу, що тилько въ Сичи и вміють жыть по-людськы. Ій-Богу, бгате, колыбъ у мене не жинка та не дочка, то кынувъ бы усяку суету мырськую, та й пишовъ до васъ на Запорожже!

„Гмъ!“ каже Кырыло Туръ, озырнувши його тушу, „не багато такыхъ потовпылось бы въ курени!“

Уси засміялись, а Черевань напередъ усихъ. Веселый и негнивлывый бувъ соби панъ.

„Я зъ души люблю сього пройдысвита“, каже гетьманъ Шрамови стыха. „Часомъ винъ закыне й дуже вже круто, да, врагъ його знае, якось такъ щиро засміетця, що ни за що на його не розсердывсь бы“.

„Погано тилько“, каже Шрамъ, „що си братчыкы сміючысь чоловика куплять, сміючысь и продадутъ“.

„Що правда, то правда, батьку. По йихъ Сичовому розуму, ни що на свити не стоить ни радости, ни печали. Фылософы вражи диты! дывлятця на Божый мыръ изъ бочки, тилько не съ порожньою, якъ той Діогенесъ, а по шыю въ горильци“.

„Такъ вамъ хочетця знаты, чого я одбывсь одъ товариства?“ каже Кырыло Туръ, спорожнившы кубокъ. „Ось чого. Може, вы чувалы колы-небудъ про побратимство? Де вже не чуваты? Се нашъ Сичовый звычай. Якъ ни одризняй себе одъ мыру, а все чоловику хочетця до кого-небудъ прыхылытысь; нема ридного брата, такъ шукае названного. Отъ и побратаютця да й жыуть до вику въ-купи, якъ рыба зъ водою. „Давай“, „кажу я своему Чорногору, „давай побратаемось“. — „Давай“. Отъ и зайшлы у Братство, та й попросылы пан'отця прочытать надъ нами изъ Апостола, що насъ

породило не тило, а живе Слово Боже; и отъ уже мы теперь ридни браты, якъ той Хома зъ Еремою“.

„Ну, а дали?“

„А дали.... се вже такъ завсегда буває, що, скоро чоловикъ зробить добре дило, то сатана — не за хлибомъ його згадуючы — и пидсуне искушеные.... дали дывлюсь, ажъ стойить краля така, що тилько гмь! та й годи“.

„О, не вже такы жиночый ридъ спокусывъ хоть разъ Запорозця?“

„Ой, ой, ой, пане гетьмане! та ще якъ! И не дыво бо: Адамъ бувъ чоловикъ не нашого брата, та й той спиткнувсь на Еву!“

„Звидкы жъ узялась та краля?“

„Спытай ии самъ, звидкы! я такой пышнойи панны не зумію й заняты“.

И поглянувъ на Лесю.

„Тю-тю, дурню!“ каже засміявшысь Сомко: „Се моя молода!“

„Та мини не те горе, що вона твоя молода“, каже, здыхнувшы, Запорожець, „а те, що зовсимъ мене прычарувала“.

Уси зареготалы, почувшы таке дыво.

„Браво“, каже Сомко, „ведмидь попавсь у тенеты! Що жъ теперь буде?“

„А що жъ? ведмидь пійде до свого берлога, и тенеты за собою потягне“.

„Якъ! отсе у Сичъ бы то?“

„Чого жъ у Сичъ? хиба тилько й свиту, що въ викни?“

„И отсе такой жвавый козарлюга, да ще й отаманъ, рады жинкы покыне товариство?“

„А чомъ же? та для такой крали можна покынуты й усе на свити, не то що товариство“.

„Ну, куды жъ бы ты потягъ свои тенеты?“

Кырыло Туръ засміявсь.

„Ты бо вже, пане ясновельможный, хочешъ усю правду разомъ выпытатъ. Не хочетця тоби й признаватись, не хочетця й брехаты“.

„Бо ще, кажешъ, изъ-роду не брехавъ?“ додавъ шуткуючы Сомко.

„Не збрешу й теперъ“, каже Кырыло Туръ. „Дайте тилько гортанъ промочыты“.

Да й кашлянувъ, выпившы кубокъ, и поглянувъ по всихъ гостяхъ, розглажуючы усы.

„Треба“, каже, „вамъ, панове, знаты, що Чорна Гора те жъ святе, що й наша Сичъ, тилько що тамъ не цураютця бабьского роду. Ато и подилена такъ якъ насъ: у насъ қурини, а въ ихъ *братства*, и надъ усякимъ братствомъ обирають отамана. А що вже войоваты зъ бусурменами, такъ хочъ що дня. Та якъ у ихъ воюють, колыбъ тилько вы знали! Якъ зачне розказуваты мій *побро*, то ажъ душа въ-гору росте. Побро мій, знаете, забрившы на Вкрайину, скучывъ безъ своеи Чорной Горы, и вже давно зазыва мене въ гости. И то сказать: чомъ не погуляты козакови по свиту? чомъ не подывыгысь, якъ жывуть иншии языки!“

Вси слушають, до чого винъ доведе свою ричъ. Очарувавъ усихъ Запорожець.

„Добре“, кажу, „пойидьмо, покажемъ твойимъ землякамъ козацьке лыцарство; нехай и насъ тамъ зна-

„юты!“ Ото жъ и побратавсь я зъ нымъ у Братстви, такъ уже, щобъ у насъ не було *се мое, а се твое*, а все у-купи; щобъ помагать одынъ одному у всякій прыгоди; щобъ меншый старшому бувъ вирнымъ слугою, а старшый меншому риднымъ батькомъ. Воно бъ и добре, та якъ побачывъ я оцю кралю, такъ душа й дала сторчака. „Якъ хочешъ“, кажу, „побро, а я безъ *„сіи дивойкы* не пойиду зъ Украйины!“ Не бабакъ же й мій побратымъ. „Море!“ каже, „у насъ якъ кому *„прыпаде до души руса коса*, то вхопыть, якъ сокиль *„чайку*, та й до попа“.

„Се вже по-Рымськы!“ каже сміючысь Сомко. „А якъ-же въ тои чайкы есть браты-орлы, або родычи-соколы?“

„Тымъ бо й ба, що юнакы знаютъ и сьому лыху запобигты. Тилько натякны, то сами вызвутця! „*Гайде, „море! да ти отmemo дивойку!*“ Се бъ то по нашому: „Гайда! однімемъ тоби дивчыну!“ Отъ и зберетця чоловікъ десять тыхъ *отмычаривъ*; спорядятця якъ на війну, и вже, якъ попадуть у свои лапы *русу косу*, то хочъ головы положить, а не впустять родычамъ. Пекъ його матери! такый звычай по смаку мини! и вже хиба не я буду, щобъ я не доказавъ такого жъ отмычарства. Вони беруть однією хыстью, а въ нашего брата про запасъ и характерство есть.“

„Що за баяндрасныкъ отсей прудыусъ!“ каже сміючысь Сомко. „Мабуть, у васъ въ Сичи тилько й роботы, що потишать одынъ одного выгадкамы“.

„Э, пане гетьмане! наши братчыкы, що въ Бога день, выробляють такыйи чудасіи, що не треба й выгадокъ. Та вже знаю, що паны молодци не почують

луччою, якъ я сьогодни выкыпу. Ще такой чудасія зъ-роду ниhto не чувавъ“.

„Що жъ то буде за чудасія?“

„Такъ,ничого: пидхоплю тилько на сидло оцю кралю, та й шукай витра въ поли. Махнемъ съ побратымомъ навпростець до Чорной Горы. Охъ, да дивчына жъ гарна!“ додавъ Кырыло Туръ, поглянувши вовчымъ поглядомъ на Леся.

Леся вже давно була сама не своя одъ страху. Зъ-роду вона никого такъ не боялась, якъ сього Запорозця. Крипылась, однакъ-же, сердечна, сьдючы за столомъ. Якъ-же поглянувъ винъ оттакъ на неи, то наче ажъ до сердца досягъ їй очыма. Злякалась голубонька, якъ дытына, и заплакала зъ ляку. Затулыла руками очи, а слъозы мижъ пучкы такъ и капотятъ. Маты соби тревожилась, устала зъ-за стола и одвела їи въ кимнату.

А козакамъ и байдуже, тилько сміялысь.

„О вражый ты комышныку!“ каже Шрамъ; „бачъ, до чого добалакавсь! излякавъ справди бидну дытыну“.

Череваныха вже не вернулась до столу; однакъ ниhto послѣ обидъ не догадавъ довидатысь, чи не занедужала съ переполоху Леся. Тогди ще козакъ мало зважавъ на жиноче сердце. Жиночи слъозы и печаль не скоро проймалы йому душу.

Уставшы зъ-за стола, Кырыло Туръ подякувавъ за хлибъ за силь по свойому: „Спасыби Богу та мини, а господару ни: винъ не нагодует, то другый нагодует, а зъ голоду не вмру“ — да й потягъ изъ подвирья съ побратымомъ, не сказавшы никому й прощайте, наче зъ свого курия. Тилько чутно було якъ выпивувавъ за воритьмы:

Журба мене сушыть, журба мене вялыть,
Журба мене, моя маты, скоро зъ нигъ извалыть.

„Чи чуешъ?“ каже тогди Шрамови гетьманъ.
„Нихто не розбере, чымъ дыше Нызовецъ, покы самъ себе не выявыть. Отъ же я знаю, що въ сього Кырыла Тура щось на души важке лежыть. Удае винъ изъ себе палыводу, а постережавъ не разъ я, куды прямуе сей юрода. *Дивно во очюю*, а такъ воно есть, що винъ тилько й живе души спасеніемъ“.

„Ледачу жъ выбравъ винъ дорогу!“ каже Шрамъ.

„На яку натрапывъ, таку й выбравъ, батьку! Сотворывъ себе буымъ и безумнымъ для Бога. Онъ воно що! Господь його знае, куды винъ зайде; а бачывъ я разъ, якъ Кырыло Туръ, молячысь середъ ночи Богу, облывався гарячымы слъозамы, и нехай бы пустынныйкъ знисъ таку молитву до Бога, якъ сей гульвиса! Прыслушавшысь, я самъ... да що про те розказоваты? То дила Божи. Одкрыю тобі, пан'отче, чого отсе я въ Кыиви. Не сватанне въ мене на думци. Повинчаешъ ты мене, одигнавшы Ляхивъ до Случи, щобъ моя жинка була гетьманша на всю губу. А теперъ передъ вийною треба намъ поставыть у Кыиви твердо ногу, треба понасыпать горлахи пашнею, прыпасты доволи пороху и вийськовои зброи, да ще спорядыть одно дило. Ось ходимо лышь до архымандрыты, до нашого порадныка. Гизель, батьку, теперъ у насъ такый головатый чоловікъ, якъ колысь бувъ Могыла. Поговорымо зъ нымъ де про що зъ *Гадяцькыхъ пунктивъ*. Не дурень бувъ Выговський, що напысавъ йихъ, тилько дурень, що зъякшавсь изъ Ляхамы. Зъ Ляхамы въ козакивъ во вики вични ладу не буде. Чи гараздъ, чи не га-

раздъ, а зъ Москалемъ намъ треба у-купи жыты. Се вже такъ, батьку!“

„Ой, сынку!“ каже Шрамъ: „рознюхалы мы теперь добре бояръ да воеводъ Московськихъ!“

„Се, батьку, якъ до чоловика! А Москаль намъ риднійшый одъ Ляха, и не слидъ намъ одъ його од-риватысь“.

„Богъ його знае!“ каже здыхнувши Шрамъ: „може воно такъ буде й лучче“.

„Уже жъ бакъ не гирше, батьку! бо тутъ уси слухають одного, а тамъ, що панъ, то й король, и всяке ледащо норовить, якъ бы козака въ грязь за-топтаты“.

„Не диждуть вони сього, невірнийи души!“ каже Шрамъ, ухопывшысь за уса.

„Отъ же, щобъ не дождалы, батьку, такъ треба намъ зъ Москалемъ за руки держатысь. Се жъ усе одна Русь, Боже мій мылий! Колы въ насъ заведетця добро, то й Москалю буде лучче. Ось нехай лышь Господь намъ допоможе зложыты до-купы обыдва берегы Днипрови, тогда мы позаводимо усюды правныйи суды, школы, академыйи, друкарни, пиднимемо Вкрайи-ну въ-гору, и возвеселымъ души тыхъ великихъ Кывськихъ Ярославивъ и Мономахивъ“.

Розмовляючи про таки речи, пійшли до отця Ино-кентія у-двоихъ, чи въ-трохъ, а де-яки розійшлысь по монастыреви.

Що жъ діялось изъ Лесею? Вона, голубонька, справди рознемоглась. Не жартамы здавалысь їй хы-мерни речи Запорозця: вона боялась, щобъ не вхопывъ

винъ їи, якъ шулякъ, и просыла матери позащипаты кругомъ двери. Чого вже не робыла маты, щобъ їи заспокоиты! сердечному дивчати такъ и стоявъ передъ очыма страшный Запорожець. Уже й Черевань, увалившысь у кимнату, пробувавъ їи уговорюваты, щобъ не лякалась не знать чого; разивъ зо два назвавъ забувшысь ажъ бгатикомъ; дали бачыть, що ничего зъ нею не врадять, махнувъ рукою, да й лигъ одпочыты; проспавъ, неборакъ, ажъ покы задзвонено до вечерни.

Посли вечерни зновъ позбиралысь уси у козацьке подвиръе. Гетьманъ и Шрамъ вернулысь ище веселійши, пылы за здоровъе великой, одностайной Украйны, пылы й за Царя православного и праведного, который ни для кого въ свити душею не покрывыть, не такъ якъ той король, що отдавъ козакивъ магнатамъ на поталу. Одъ щырого сердца празныковалы. Черевань соби бувъ радъ, що Шрамъ повеселійшавъ, и все тилько выгукувавъ за кубкомъ: „Щобъ нашимъ ворогамъ було тяжко!“

И весь же той гармыдеръ чынывся черезъ стину одъ Леси. Лежала вона зовсимъ мовъ недужа, а про неи ни хто й не спогадае. Сказано — козаки: байдуже йимъ про жинокъ, якъ заходятця зъ вїйськовыми речамы. Отъ же, хоть небожата жиноцтво вже й знали и корылысь свойй доли, да защымило серденько въ моеи Леси, одъ того занедбанья; жаль їй було не помалу на свого ясного жєныха, на Сомка Якыма. Рыцарь надъ рыцарствомъ, вродливый надъ вродлывыми, да, выдно, тилько въ його й думкы, що про гетьманськи порядкы. А дивочому сердцю що й молодецька кра-

са, що й козацька слава, колы до неї козакъ не горнетця?

Леся полюбыла Сомка ище тогди, якъ винъ було носыть иї на рукахъ и даруе ий то золоти сережки, то добре намысто. Ище тогди звавъ винъ иї своєю суженою и зложывъ съ Череваныхою руки. Череваневи здавалось жартамы таке залыцяння, а вони съ Череваныхою не жаргують словами. Съ щырого серця зове винъ иї своєю ненею, съ щырои души зове вона його своимъ зятемъ. И зросла Леся його кохаючы, кохаючы щыро дивочымъ серцемъ. Що тилько въ писняхъ выпивують про те кохання, усе вона складала у своему серци. Отъ же зове вже винъ иї своєю й молодою, тилько все воно выйшло не такъ, якъ-то вона соби компоновала. Про иншыи речи клопочетця винъ изъ старымъ Шрамомъ, про иншыи речи шыроко розмовляе, а иї мовъ бы нема йому й на свити. Защымило горде дивоче серденько, да мовчала небога, не сказала й матери.

А що жъ Петрусь? Петрусь заразъ послаи обидъ узявъ рупшыцю и пийшовъ у гай нибы на польовання. Проблукавъ сердега по гаю до самого вечора. Вернувшись на подвиръе, ажъ тамъ уси веселятця. Гоминъ справылы такый, мовъ справди на бенкети. Инши й до його прысипалысь изъ кубкомъ, а йому прытьмомъ прыйшло такъ, якъ спивають у писни:

Чомусъ мини, братци, горилка не пьетця:

Коло мого серця мовъ гадына вьетця!

Силы за вечерю, ажъ ось изновъ иде Кырыло Туръ, тилько вже безъ побратыма.

Леся не выйшла вечеряты. Розгорилась и розне-

моглась сердечна дивчына, що притьмомъ мусыла Череваныха посылаты у хутирь до чернечого пасичныка по шептуху. Прыйшла шептуха и наварыла якогось зилля, щобъ напоиты на ничь, да й сама бабуся осталась ночоваты на подвирьи. Надвечирь ублагала була маты Лесю роздягтысь да лягты спать; якъ-же почула Леся Кырыла Тура голосъ, то такъ и затрусылась; и вже шкода було й казаты ий про сонъ! Боялась заснуты, щобъ не вхопывъ той пугачь и сонну. Не вонтпыла вона, що сей пройдысвить не своею сылою дыше, бо не разъ чувала про Запорозьке характерство.

А Кырылови Туру, мабуть, булы жарты съ того дивочого жаху. Сивъ за вечерю, да заразь и почавъ выкыдаты.

„Ну, панове“, каже, „теперь я вже зовсимъ налагодывсь у дорогу“.

„У яку се?“ пытае Сомко.

„Та въ Чорну жь Гору“.

„Усе такы туды? Ты не покынувъ своей думкы?“

„Колы жь се бувало, пане гетьмане, щобъ наши братчыкы, задумавшы шо-небудь, покынули свою думку, мовъ яку хымеру? Про шо иншому и загадаты страшно, те Нызовець, сыдячы надъ шырокимъ моремъ-лыманомъ, выкомпонуе, вымизкуе, и вже хиба лусне, а не покыне своей гадкы. Такъ оце й мини прыйшлось, бачу, або луснуть, або доказаты славы; бо вже недурно щось мою Турову голову такъ заморочылы дивочи очи“.

„И тоби отсе, Запорозцеви, одшельныкови, не соромъ признатысь?“ каже Шрамъ, бо й винть, старый,

розвишавъ уши, якъ понисъ той свои баляндрасы. „А що скаже товариство, якъ дочуетця, що куринный отаманъ такъ острамывъ своихъ братчыкывъ?“

„Ничого не скаже, бо я вже теперь вольный козакъ“.

„Якъ то *теперь* вольный? а перше жъ хйба бувъ невольный?“

„У насъ, панове, покъ козакъ не выпышетця съ коша, чи съ куриня, то слухай Сичовой старшыны, такъ якъ игумена. Знюхайсь тогда, колы хочъ зъ бабою, то зна-тымешъ, по чимъ кившъ лыха! Тилько нашъ черне-чый уставъ кращый одъ монастырського. У насъ, скоро чоловіка спаѣтлычыть мырская суета, то въ куну, або до козы не сажають, а заразъ — иды соби къ неч-стий матери! выбрыкайсь на воли, колы дуже розжы-ривъ на товарыському хлиби!... И чи разъ же то траплялось, що сердечный сиромаха попогасае по *Го-родахъ*, ухопыть, якъ тамъ кажуть, шыломъ патоки, да побачывшы на власни очи, що чортымае въ свити ничого путнього, покыне жинку и дитей, вернетця въ куринь: „Эй, братчыкы! прыймите мене зновъ мижъ то-варыство! Чортма на свити добра! не стоить винъ ни радости, ни печали!“ А братчыкы тогда: „А що, ле-дащыце! ухопывъ шыломъ патоки? Беры лышень ко-рякъ та выпый зъ намы сіеи дуры, то, може, поро-зумнійшаешъ“. Отъ бидолаха сйдае мижъ мылымъ товариствомъ, пѣе, розказуе про свое городове жытте, зъ жинкою та зъ дитьмы; а тыи слухають, кепкують зъ його, якъ изъ блазня, та тилько за боки берутця. Такъ и мій покійный пан'отець — нехай царствуе —

Йиздючы колысь изъ пропашальныкомъ по Городахъ, на-трапывъ на таки очи, що й товариство йому стало не мыле—замутывъ зовсимъ лукавый йому голову. Ну, выписавсь изъ куриня, сивъ хуторкомъ десь коло Ни-женя, и господарство, и худибчыну завивъ, и дитокъ сплодывъ двойко—карапуза хлопчыка, та скверуху див-чынку. Тилько, рокивъ черезъ пять чи шо, такъ йому обрыдло усе въ господи и въ поли, якъ прыборканому степовому птаху. Сумуе та й сумуе козакъ; бо чи ста-течна бакъ ричъ—исповныты козацьку душу жинкою-квочкою та дитьмы-пысклятамы? Козацькой души и ввесь свить не сповывъ бы: увесь свить вона прогу-ляла бъ и розсыпала, якъ таляры съ кышени. Тилько одынъ Богъ може ии сповныты“...

„Що жъ сталось изъ твоимъ батькомъ?“ спытавъ Сомко. „Ты бо вже, колы говорышь, то говоры одно; ато разомъ хочешъ быть и за попа, и за дяка“.

„Изъ моимъ батькомъ?“ каже Кырыло Туръ, мовъ скрызъ сонъ; бо звернувъ свою розмову на такой ладъ, що й голову понурывъ... „Эге! я жъ кажу, що мій батько, скоро розчовпавъ, що поживывсь якъ собака мухою, то й заскучавъ по братчыкахъ. Уже не разъ казала йому моя маты, такъ якъ та жинка въ писни:

Що ты, мылый, думаешъ-гадаешъ?

Мабуть, мене покынуты маешъ:

Рано встаешъ, коня наповашъ,

Жовтенького вивса пидсыпашъ,

Зеленого синця пидкладаешъ;

Въ синечкы йдешъ—нагайкы пытаешъ,

Въ коморю йдешъ—сидельця шукаешъ;

Дытя плаче—ты не поколышешъ;

Все на мене важкымъ духомъ дышешъ!

Тилько батько мій не пускавсь у такі жалибный розмовы, якъ той козакъ изъ своєю жинкою, а наду-мавшись самъ соби, сивъ на коня, ухопывъ на сидло карапуза сынка свого, се бъ то мене ледачого, та й гайда на Запорожжя. Не выбигала жъ за нымъ у-слидъ моя паниматка, якъ у тій писни; не хапала за стреме-на, не прохала вернутись, напытись варенухы, пры-братись у голубый жупанъ та хочъ разъ ище поды-вытись на свою мылу. И жупаны, и худобу покынувъ винъ ий на прожытокъ, а самъ у семрязи убравсь за гряныцю бабського царства. Отъ же й мини, бачця, доведетця йты батьковськымъ слидомъ!“

„Ну, беры жъ кубокъ“, каже гетьманъ, „да пид-крипысь на дорогу. До Чорной Горы не близькый свить. Ось и мы поглядимо тоби дорогу“.

„Дякуемо тоби, пане гетьмане!“ каже Кырыло Туръ, кланяючысь низенько. „Уже колы ты й самъ гладышь мини дорогу; то будь певенъ, що я свою кралю перевезу гарненько въ Чорну Гору“.

„Що ты думаешъ, сынку?“ каже нышкомъ гетьма-нови Шрамъ. „Ты знаешъ, що за божевильни люде си комышныкы: не розбере йихъ и самъ нечыстый. Не виръ, бо то звірь; хоть не вкусыть, то злякае! Держы, сынку, въ голови сю пословицю. На юродывыхъ иноди справди находыть безумые“.

„И-и, батьку!“ каже, сміючысь, Сомко. „Добре я знаю сього юроду. Нема, може, и въ свити такой щы-рой души до мене. Якъ проганявъ я Ляхивъ зъ Украйины, да одбывавсь одъ Юруся, то винъ изъ своимъ нимымъ Черногорцемъ вызволявъ мене не разъ

изъ великой биды. Служывъ винъ мини за языка, за шпига, за сердюка, и все тилько рады доброго слова да ковша горилки. Не разъ я насыпавъ йому шапку талярамы, такъ идучы й вытрусить на порози. „Звидкы“, каже, „се такого смиття набралось?“ такой хымера! Було кажу: „Кырыло, скажы Бога рады, чымъ мини тебе наградыты? Ты жъ не разъ слобонявъ мою голову одъ смерты!“— „Не тоби“, каже, „награждать мене за се!“ Отъ воно що, батьку!“

„Справди“, каже Шрамъ, „се золото, а не козакъ! Пане отамане“, до Кырыла Тура, „ходы сюды, дай я обниму тебе да поцилую“.

„За що се така ласка?“

„Ходы, мини то вже знать, за що“.

Да й обнявъ и поцеловавъ Запорозця.

„Да й наградыть же“, каже, „тебе Господь за твои рыцарськийи вчынкы!“

„Э, батьку!“ каже Запорожець, „то жъ ище дурныця, да такъ мене голубышъ: що жъ ты скажешъ тогда, якъ украду съ-пидъ полы въ гетьмана мол'оду?“

Черевань бильшъ одъ усихъ уподобавъ Кырыла Тура; усе реготавъ изъ його выгадокъ.

„Врагъ мене визьмы“, каже, „бгатци, колы я бачывъ такого жвавого молодця! Душа, а не Запорожець! Иды, бгатику, й до мене, и я тебе поцилую!“

„Отъ добри люде!“ каже Кырыло Туръ: „у йихъ крадешъ, а вони тебе цилують! Йй-Богу добри люде! Шкода, що вже бильшъ не побачымось! у Чорну Гору воронъ и кистокъ вашихъ не занесе. Ну, прощайте

жъ теперь, панове громада! Дякуемо за хлибъ та за
силъ! Прощайте! часъ лагодытись у дорогу“.

И, выходячы зъ дверей, распростеръ руки, да й
каже: „Двери одмыкайтесь, а люде не прокыдайтесь!
двери одмыкайтесь, а люде не прокыдайтесь!“

„Що за неподобна голова въ сього Кырыла Тура“,
сміючысь каже Сомко: „Се бъ то вже ворожить, ха-
рактерствуе“.



Глава восьма.



Не довго въ ничь гулялы наши козаки: по-близу святого миста гуляты довго не годылось. Ище не дойшло й до пивночы, а вже вси давно спалы. Хроплы козаки на ввесь двирь, одь самой свитлыци, де спочывавъ гетьманъ изъ Шрамомъ, да ажъ до стани; тамъ спавъ Васыль Невольныкъ пры Череваневыхъ коняхъ. Инши лягли пидъ чыстымъ небомъ, и хоть у-ночи на двори було не душно, да тому черствому, гарячому людови байдуже було про холодъ. Здорово було гулякамъ на двори, якъ трави, що прывяла въ день на сонци. Кругомъ по гаю щебечуть соловьи, ажъ луна розлягаетця; де-колы й пугачъ скаже свое смутне *пугу!* Козацьке сонце високо пидбылось у-гору; зори вкрылы все небо, якъ рызу.

Не ниме було козакови те небо, и мисяць, и зори: чи погляне на мисяць, на його плямы, чи погляне на зори, то й сердце, и думка його розжеврие, якъ одь Божого Слова. Чого на мисяци тыйи плямы? Винъ знавъ, чого. То ще якъ Каинъ убывъ Авеля, то Богъ назначывавъ на мисяци той грихъ своею рукою: „Дывитесь“, каже, „люде: такъ якъ сей Каинъ до вику вичнього нестыме на плечахъ мертве братне тило, такъ усякый душоубецъ носытyme до вику, до суду тяж-

кый грихъ свій“. А зори? то людськи души. Якъ засне гришне тило, добри души, покынувшы землю, зносятця до Господа Бога, купаютьця, облываютьця у небесному свити, пидслувають, що говорять на неби ангелы. Якъ-же часомъ покотытця по небу и погасне ясна зоря, козакъ перехрыстытця и помолытця за усопшую душу. Инши зори щастять у його на врожай, инши на скоть, а Визь — чумацька шаслыва зоря.

Ясна, пышна була ничъ надъ Печерськымъ, да одынъ тилько чоловикъ дывывсь на ии дыва; не спавъ, дывывсь и ничого не бачывъ. Вже жъ не хто сей одынъ, якъ той сердега Петро Шраменко. Кому сонъ, а йому туга да жаль, да досада. Довго винъ ворочавсь на свой бурци; дали вставъ, натягъ жупанъ да й выйшовъ у гай хвирточкою.

Бидный козакъ тайивсь одъ усихъ изъ своимъ коханнемъ, бо всякъ тилько бъ изъ його насміявся. Козаки не дуже вдавались у любви; знали сю немичъ наибильшь дивчата да молодыци; вони-то поскладали й отти писни, отти нижныйи розмовы козака зъ дивчыною, або мылого зъ мылою, що слушаешъ, и не наслухаеся.

Колыбъ у Петра була ньенька ридненька, або сестра жалибныця, може бъ, йимъ розказавъ винъ про свое лыхо. Бо хоть якъ не гордѹе було козакъ любощамы передъ товарыствомъ, а якъ вернетця до господы, якъ зачне коло його упадаты ластивкою маты, якъ стане його голубыты сестра, росчисуючы йому кучери, роспытуючы про далеки стороны, про козацьки прыгоды, то й тверде, якъ зализо, сердце помякшае, и що тилько важке есть на души, усе козакъ своимъ щырымъ жа-

либныцямъ роскаже. На биду, въ Петра не було ни сестры, ни матери; мавъ винъ за порадныкивъ тилько старого, гризного пан'отця да жартовлыве товариство.

Ходыть винъ, сновыдае по гаю, и самъ не знае, чого. Мисяць ставъ уже на небі ныжче; свитыть навскось по траві, по куцахъ, по березахъ. Ничъ уже на исходи. Якъ ось, чуе Петро — тупотять кони.... Усе бльжче, бльжче. Роспизнае нешвыдку рысть двохъ ступакивъ. Звернувъ зъ дорижкы за куцъ, щобъ ни съ кымъ не зустритысь. Якъ ось, чуе й людську мову. По зори усяке слово доходить до його чысто. Заразъ пизнавъ Кырыла Тура голосъ, а по Черногорському *бре* да *море* пизнавъ його побратыма.

Кырыло Туръ говорить: „Що-то, брате, скажуть ваши отмычаре, про Запорозьку хысть, якъ мы пидхопымъ оцю *дивойку!*“

А Черногоръ йому: „Бре, побро! мини усе здаецця, що ты тилько морочышь мене. Не впевнюсь, покы не побачу дыва на свои очи!“

„Мисяць не скоро зайде“, каже Запорожець, „побачышь, не повылазять“.

„Якъ же ты *отмешь дивойку*, не наробывшы гвалту?“

„Эге-ге, пане брате! чи таки жъ дыва чынылы на свойому вику Запорозци? Хиба жъ я дармо заворожывъ уси двери?“

„Море!“ каже Черногоръ. „Ты бъ уже хочъ мене своимъ характерствомъ не морочывъ!“

„Що за дурна въ тебе голова, брате“, каже Кырыло Туръ. „А за що бъ же мене обралы отаманомъ? хиба за те, що добре горилку лыгаю? Е въ насъ на

се дило, ище луччи мыстеци, а характерныкивъ не багато знайдешъ“.

Тымъ часомъ одъйихалы вони далеко, и не стало чуты йихъ розмовы.

Теперь Турови речи за вечерою не здавались уже Петру жартамы: мабуть, справди скрутивсь одъ жыру Запорожець! Спершу бувъ кынувсь Петро до гостынищи будыть козакивъ, дали зупынивсь.

„Чого я“, каже, „бижу? Чи выдане дило, щобъ украсты дивчыну съ-посередъ мыру? Запорожець сказывсь, а я й соби бижу, якъ божевильный“.

Да й пійшовъ тихою ступою.

„Треба жъ оттакъ изъ юродства да зайты въ голову!“ думаетъ идучы Петро. „Отсе не удавай изъ себе хымородныка, не бурлы, якъ кабанъ у корыти!... Радъ бы я бувъ, колыбъ Сомко, за сей жартъ, звеливъ жартуючы погрить йому кыямы плечи!“

Пройшовшы зъ гоны, ставъ такъ ище думаты:

„А що, якъ справди винъ характерныкъ? Чувавъ я не разъ одъ старыхъ козакивъ, що си бурлаки, сидучы тамъ у комышахъ да въ болотахъ, обнюхуютця зъ нечыстымъ. Выкрадали вони зъ неволи невольныкивъ, да й самыхъ Туркенъ иноди такъ мудро, що справди мовъ не своею сылою. Не дурно, мабуть, иде мижъ людмы поголоска про йихъ характерство.... Утикае одъ татаръ, розстеле на води бурку, да й поплыве, сыдя, на другый берегъ.... Ну, то вже дурныця, що Ляхы съ переполоху провадятъ, буцимъ Запорозци ростуть у Велькому Лузи зъ земли, якъ грыбы, або, що въ Запорозця не одна, а девять душъ у тили, що помы його вбъешъ, то вбывъ бы девятеро простыхъ

козаківъ. Може не зовсімъ правда й про бурку. А що Запорозцєви вкрасы, що задумає, то мовъ изъ гамана тютюну достать. Вони напускають ману на чоловіка....“

Да й згадавъ, якъ у старого Хмельныцького сидивъ у глыбци такый, що ману напускавъ. „Що вы“, каже, „що мене стережете? якъ схочу, то лыха встережете мене! Ось завязжить мене въ мишокъ“. Завяззаны його да й прытяглы за трыамкы, ажъ винъ и йде зъ-за дверей: „А що, вражи диты! встерєглы?“

„Що жъ“, думає, „якъ и се такый хымородныкъ? Пйду скорійшъ, щобъ справди не вкоивъ винъ якого лыха“.

Да, ступывшы швыдкою ходою ступнивь зъ десятокъ, зупынывьсь изновъ, наче объ стину вдарывсь.

„Що“, каже, „я за куряча голова! кого я йду рятуваты? Хиба въ неи нема женыха борониты? Що я за вартовый такый? Зъ якои ласкы не спаты мини по ночахъ, щобъ якый опыяка, пидкравшысь, не злякавъ гетьманьскои молодои? Колы ты йдешъ за гетьмана, то нехай поставыть тоби на всихъ дверяхъ и воротяхъ варгу; а мини яке дило? Хоть нехай усихъ васъ перехапають си розбышакы?... Бачу я тебе задалегидь, ясновельможный пане, якъ ты довидаєся, що вкрадено въ тебе изъ-пидъ полы молоду! Бачу й тебе, горда паниматко: чи такъ поглядатымешъ зъ-высока и тогда на нашего брата, якъ твй гетьманъ изъ сонцемъ на лобу проспыть молоду, незгиршъ одъ иншого гультая. Бачу й тебе, ясная крале, якъ замчыть тебе отсей шыбай-голова мижъ Черногорци. Тамъ жинкамъ не дуже догожають. Скакатымешъ ты черезъ шаблю въ сього дыкого Тура; не разъ згадаешъ писню:

Любывъ мене, маты, Запорожець,
Водывъ мене босу на морозець....

Мизкуе такъ соби Петро, ажъ ось изновъ закопотили кони. Слухае, и самъ соби виры не йме.

„Не вже такы справди сей Запорожець знаецця зъ нечыстою сылою?“ думае винъ. „Да постій, чи не самы вони вертаютця?... Ни, справди везуть!... Проклятый! мчыть, якъ вовкъ овечку!“

Кони надъйихали блыжче. Дывытця Петро — Кырыло Туръ держыть передъ собою Лесю на сидли, якъ дытыну. Ажъ сумно йому стало. Леся була зовсимъ якъ очарована. Сыдыть голубонька, схылившы голову, а рукою держытця за плече Запорозю. А той одною рукою пиддержуе бранку, а другою правыть коня. Сердечна тилько стогне, мовъ уви-сни щось страшне бачыть. Щось неначе й говорыть, да за соловьямы не можна розибраты: соловьи передъ свитомъ саме розщобеталысь.

Жаль Петру стало Леси; уже хотивъ выйты зъ-за куца, заступыть отмычарамъ дорогу да й бытысь; не вважаючи ни на яки чары; да вхопивсь, ажъ пры йому нема шабли. Уже вони й обмынули його, а винъ ище стоить, не знаючи, що чыныты. Ажъ ось Леся зъ разу закрычала, мовъ прокынувшысь. По гаю пійшла луна, а голосъ ии такъ и пронявъ мого Петра до самого сердца. Бигомъ кынувсь винъ до подвирья, ухопывъ шаблю, допавсь коня, скочывъ на його охляпъ. Васыль Невольныкъ, прокынувшысь, думавъ, чи не Цыгане пораютця коло коней, да пиднявъ гвалтъ.

„Не крычы, Васылю“, каже Петро, „а буды козакивъ; украдено Череванивну съ покоивъ!“

Василь Невольникъ пиднявъ изновъ галась на ввесь двирь; а Петро, не слухаючы його, выйхавъ у хвирточку схылившысь, да й помчавсь, якъ выхорь.

Тымъ часомъ отмычары держалы свою дорогу, поспиаючы vybrатысь за ночи съ Кывивскои околыци. Бидна Леся, мабуть, добре ковтюла знахорчыного зилля одъ переполоху: хылялась якъ пъяна, и ничого не знала, що зъ нею дїетця; прокынулась тилько, якъ пронявъ ии холодный виторь съ поля. Гляне, ажъ вона середъ пуци, на рукахъ у страшного Запорозця. Спершу думала небога, що се ий снытця; дали скрыкнула, да задармо. Розбышакы тилько зглянулысь да всемхнулысь мижъ собою. Почала була благаты, щобъ не погублялы ии, щобъ пустылы; такъ Кырыло Турь тилько реготався.

„Що за дурный“, каже, „розумъ у сихъ дивчатъ!... Щобъ оце я, писля такой праци, выпустивъ изъ рукъ самохить свою здобычь! Ни, голубонько, сього въ насъ не буває. Та й чого тоби убыватысь? Хиба я не зумію кохаты тебе такъ, якъ и хто иншый? Не плачь, мое серденько: привыкнешъ да жытымешъ за мною не згиршъ, якъ и за гетьманомъ. Дивка, кажуть, якъ верба: де посадки, тамъ и прыйметця“.

Не дуже вгамовалась Леся одъ такого розважання; рвалась, крычала, здїймала до неба руки.

„Мое ты коханне!“ каже тогда, одминывши голось, Кырыло Турь, „не крычы, колы не нажылась на свити. Ты думаешъ, якъ насъ наздоженуть, дакъ я тебе жыву выпущу зъ рукъ? Чорта зъ два кому писля мене достанесся! Цыть, кажу! ось бачъ, яка цяця“

И блыснувъ ий передъ очыма Турецкымъ запояс-

ныкомъ; а очи такъ поставывъ протывъ неи, що сердечне дивча и помертвило одъ страху.

Выйихалы съ пуци на поле, ажъ уже на сходи сонця зоря перемагае мисяць. Почервонило небо; починае на свить займатись. Дорога то спускалась у-низъ, то зновъ пидіймалась у-гору. Зъйихавшы на высокый кряжъ, озырнувсь Кырыло Туръ, ажъ изъпидъ гаю хтось мчитця навзагоды, на сывому кони. Винъ зупынывсь да й каже:

„Не буду я Кырыло Туръ, колы оцей йиздець не за намы! И колы хочешъ знаты, чи быстрее въ мене око, то скажу тоби й хто се. Се молоде Шраменя. Пійшло по батькови, якъ орля по орлови. Врагъ мене визьмы, колы я не догадуюсь, якый зарядъ имчыть такъ швыдко сю кулю!“

„Море, драгій побро!“ крыкнувъ Черногоръ. „Чого жъ мы гаємось? утикаймо!“

„Не такый, брате, въ його кинь, щобъ утекты намъ изъ *отмыцею*. Та й на що воно здасця? Ни, лучче станьмо та даймо бой по-лицарськы“.

„Бре, побро! що жъ изъ того буде? Насъ двое, стреляты намъ проты його не прыходытця, а на шабляхъ Шраменкови не врадышь ты ничего. А хочъ и врадышь, то нехутко; ще надбижать та й однимуть *дивойку*“.

„Знаю я, брате“, каже Кырыло Туръ, „якъ Шраменко рубаецця; тымъ-то й не хочу у такому рази показаты йому свою спыну. Поглянь, поглянь; якъ махае шаблею! Мовъ запрошуе добрыхъ прыятеливъ у гости. Нехай я буду ка'зна що, а не Запорожець, ко-

лы сьогодни зъ насъ одынь не достане лыцарьской славы, а другый лыцарьской смерты!“

„Дакъ ты хочешъ, побро, одынь на одынь бытысь?“

„А то жъ якъ? Лучче мини проминяты шаблю на веретено, анижъ напасты въ-двохъ на одного!“

Тымъ часомъ Петро надъйижджавъ усе блыжче да блыжче, а якъ побачывъ, що Леся махае хусткою, то ще бильшъ почавъ гнаты коня.

Запорозци тилько що перехопылысь черезъ узенькый мистокъ надъ проваллемъ, що промыла вода зъ одного байрака въ другый. Кырыло Туръ спустывъ бранку до-долу, и передавъ побратымови, а самъ злизъ изъ коня, розибравъ ветхый мистокъ и покыдавъ пластыны въ провалле. А на дни въ провалли рыне й реве вода, пидмываючы крутыйи берегы.

„Що оце ты творышь, побро?“ пытае Черногоръ.

„Те, щобъ Шраменя першъ доказало, що згидне воно бытысь изъ Кырыломъ Туромъ“.

„Бре, побро! Колы думаешъ, що черезъ провалле йому не перескочыты, покыньмо його, а самы доберемось скорийшъ до тайныка“.

„Эге! може, у васъ въ Чорній Гори такъ роблять, а въ насъ надъ усе—честь и слава, вйськова справа, щобъ и сама себе на смихъ не давала, и ворога пидъ ногы топтала. Про славу думаетъ лыцарь, а не про те, щобъ цила була голова на плечахъ. Не сьогодни, дакъ завтра поляже вона, якъ одъ витру на степу трава; а слава николы не вмре, не поляже, лыцарство козацьке всякому роскаже!“

Тымъ часомъ, якъ Низовый розбышака мизковавъ про рыцарьску славу, Петро мчавсь на його съ шаб-



„Ось лучше перескочь черезъ ривчакъ, то мы съ тобою покажемо, якъ б'ютьця козаки!“ (Ст. 97).

Ілюстрація С. Я. Євдокімовича.

лею. Уже близько. Якъ ось кинь тыць! зупынивсь надъ проваллемъ, уперсь передними ногами, да ажъ захрипъ, насторожившы уши.

„Ге-ге-ге!“ каже по другый бикъ, сміючысь, Запорожець. „Мабуть, не понутру тобі таки яркы?“

„Иродова душа!“ крикне йому Петро. „Такъ-то оддячывъ ты пану гетьману за гостыну!“

„За гостыну?“ каже. „Отъ вельке дыво? У насъ у Сичи прыйжджай хто хочъ, устроми ратыще въ землю, а самъ сидай, йижъ и пый хочъ трисны — ни-хто тобі ложкою очей не поротыме. А си городови кабаны усе мають за власне, що перши забрамысь у баштанъ!“

„Гуда ты беззаконный!“ крычыть Петро. „Тебе обнимають и цилують за вечерою, а ты умышляешъ израду!“

„Га-га-га!“ зареготавъ Кырыло Турь. „Хто жъ йихъ, дурнивъ, сыловавъ мене цилуваты? Я йимъ кажу у вичи, що вкраду прытьмомъ панночку, а вони зъ-дуру мене обнимають. Да що про те балакаты? ось лучче перескочъ черезъ ривчакъ, то мы съ тобою покажемо оцьому юнакови, якъ бьютця козаки!“

Обернувъ Петро коня, розигнавсь — думавъ якъ разъ перемахнуты; а кинь изновъ замъявсь. Заглянувшы въ провалля, якъ тамъ рыне вода, ажъ затрусывсь да й посунувъ назадъ, жарко хропучы и водючы очыма.

А вражый Запорожець ажъ за боки беретця регочучы.

„Отго проява, а не лыцарь!“ гукае. „Подывитця на такогo лыцаря! Дивка ось на кони въ-двохъ изо

мною перескочыла черезъ ривчакъ, а винъ прыбигъ та й задумавсь!“

„Я бѣ тоби швидко заткнувъ пельку“, каже Петро, „якъ-бы не забудь ухопыть пистоли“.

„Эъ-роду я не пійму виры“, одвитовавъ Кырыло Туръ, „щобъ сынъ старого Шрама бывсь по-розбышацькы, маючы въ рукахъ чесну панну шаблюку! Може бѣ, и я зумивъ бы зсадыть тебе съ коня кулею, та отъ же жду, покы ты надумаеся, чи скакаты, чи додому вертатыця“.

„Проклята шкура!“ каже Петро, зскочывши зъ своего коня, „вовкы бѣ тебе йилы! Обійдусь я й безъ твойихъ нигъ!“

Да й одійшовъ назадъ, щобъ розигнатысь. Догадавшысь, що винъ задумавъ, Леся затулыла одъ страху очи и молылась Богу, щобъ допомигъ йому. Тилько дармо вона лякалась. Хто бѣ не споглянувъ на його высокый зрять, на тонкый да хысткый станъ, хто бѣ не завважывъ молодецьку сылу у рукахъ и въ ногахъ, усякъ бы сказавъ, що не зовсимъ ише лыхо. Справди, розигнавшысь, скакнувъ Петро и якъ разъ досягъ до другого берега. Ажъ тутъ берэгъ пидъ нымъ хрупъ! одколовсь, и вже козакъ похылысь назадъ. Загубъ бы якъ разъ головою въ саме провалля; да Кырыло Туръ прыскочывъ и вхопывъ його за руку.

„Мыстець, братику, йй-Богу, мыстець!“ каже весело пыбай-голова. „Не дармо йде про тебе лыцарська слава. Ну, теперь я радъ зъ души стукнутысь изъ тобою шаблями“.

„Слухай, прыятелю“, каже, дышучы важко, Петро,

„не буду я съ тобою бытысь; теперь моя рука на тебе не пидниметця“.

„Якъ се? ты одступаеся одъ бранкы?“

„Ни, одступлюсь перше одъ души!“

„Дакъ якого жъ гаспеда ты одъ мене хочешъ?“

„Оддай, брате, мини ии безъ бою. Не будемъ марно крови проливаты“.

„Га-га-га!“ зареготавъ Запорожець. „Отго ще чудасія! Богдане, чи чуешъ? Курячий же въ тебе, пане Петре, мизокъ: не зовсимъ ты пійшовъ по батькови. Який бы врагъ примусывъ мене жартовать изъ гетьманомъ, колыбъ самъ куцый дидько не засивъ мини въ сердце? Ни, пане брате, полягты одъ твоеи шабли байдуже, а одлатъ бранку—ой-ой-ой!... Шкода й казаты! годи дармо балакаты! Стукнемось такъ, щобъ ажъ ворогамъ було тяжко, и нехай лучче про насъ кобзарь спивае писню, анижъ розійтысь чортъ зна по якому!“

Та й вынявъ съ пихвы свою довгу, важку шаблюку.

„Ой панночко (каже) наша, панночко шаблюко!

Зъ бусурманомъ зустривалась та й не двийчи цилувалась; поцилуйся жъ теперь изъ оцымъ козарлюгою, такъ щобъ Запорозцямъ не було сорому передъ Городовыми, а Черногорци щобъ не вельчалысь своимы юнаками!“

„Такъ ты справи не оддасы ии безъ бою?“ пытае ще Петро.

„Не йме виры вразьке Шраменя!“ каже Кырыло Турь. „Щобъ же я на Страшный Судъ не вставъ, колы ты до ии доторкнесся, покы въ мене голова на плечахъ! Буде съ тебе, чи, може, вкroitъ тоби жупана?“

„Нехай же насъ Господь розсудить“, каже Петро, а мене простыть, що знимаю на тебе руку!“

Да й соби вынявъ шаблюку.

„Коханий побро!“ каже тогди Кырыло Турь Черногорцеви, „колы я не встою на ногахъ, не бороны йому бранкы. Махай у Чорну Гору, та скажы тамъ своимъ щурамъ-Черногорцямъ, що й на Вкрайини рубаютьця не згирше.—Що жъ ты, козаче, не нападаешъ?“ обернувь винъ до Петра. „Твое дило нападать, а мое боронитысь“.

Петро почавъ козацькый грець.

Ще, може, зъ-вику не сходылысь на сихъ поляхъ такыйи два рубакы, одной сылы, одной хысти, одного завзяття. Чи встоить же Петро протывь здоровенного, широкоплечого козарлюгы Кырыла? той бо стоить якъ буйй турь, вкопавшы ноги въ землю. Тилько жъ и Петро бувъ козакъ не дытына: мавъ батькову постать и сыгу, ворочавъ важкою шаблюкою якъ блискавкою, а хысткый и проворный, якъ сугакъ на степу.

Забряжчалы, задзвонылы шаблюкы страшно. Що одынъ рубне, то другый одибъе, ажъ ыскры летять. Леся сама себе не памятала одъ жаху. Той стукъ, те звякання, тыйи блискавыци по-надъ головами, усе те діялось мовъ у неи въ серци. А Черногорець ажъ на кони не вседыть, дывлячысь на ту мономахю. Мыстець винъ бувъ у рыцарському дили, такъ йому страшенна сича побратыма съ Петромъ Шраменкомъ була не герцемъ, а справди игыщемъ.

А вони спершу повагомъ складалы шаблюкы, мовъ тилько прымирялысь; а потимъ усе скорийшъ, усе зъ бильшымъ прытыскомъ давалы одынъ одному

маху. То прыступалы, то одступалы; то розмахувалысь зъ усеи сылы, що ажъ шабля свыще; то зновъ одинъ одного тилько манылы, а сами чыгалы, якъ бы рубонуть да й закинчаты зъ-разу. И такъ же то обыдва зналы тую шермыщерью, що ни той того, ни той того не зможе зачепыты — одвичають сами шабли. Тымъ часомъ у обохъ очи вже йграють, якъ у звирюкы; шоки горять; на рукахъ жылы понабрякалы, якъ верьовкы; и вже бьютъ козакы на пропаще; искры сыплютця густо, и оть-отъ комусь погыбель! Ажъ зъ-разу—черкъ! пополамъ обыдвы шабли. Козакы зъ досады покыдалы объ землю й хресты.

„Ну, якъ же намъ скинчыты?“ каже Петро: розгарячывсь, и вже забувъ про мырову. „Давай боротысь, або стрелятысь на пистоляхъ. Нехай мини никто не доказуе, що я не справывсь изъ Запорозцемъ Туромъ!“

„Къ нечыстому зъ бороннемъ!“ важко дышучы, каже Запорожець: „хлопьяча забавка! Да ты жъ мене й не брязнешь такъ объ землю, щобъ тутъ мини й содухы. А вже раднишый я пійты до чорта въ зубы, нижъ оддать тоби бранку. Къ нечыстому й пистолі! Не вельке дыво просадыть кулею чоловикови голову: А е въ насъ, колы хочешъ, Турецьки запоясныкы, кынджалы, однаки завдовжкы и одного майстера. Схопымся за руки по стародавньому звичаю та й нехай намъ Господь мылосердный одпуска наши грихы!“

Узявъ у Черногорця булатный запоясныкъ, прымирявъ до свого и подавъ Петрови. Потимъ схопылысь ливоручъ да росчалы зновъ грець, лютый, страшнійшый первого.

„Эй, драгий побро!“ крикне Черногорець, „кинчай боржій, бо вже онде погоня!“

„Не бійсь“, каже Кырыло Турь, задыхавшысь, „поки пидоспіє, закинчаемо дило!“

„О, Боже, Спасытелю! се наши йдуть!“ закрычала Леся, глянувши на дорогу. Ато стояла все мовь нежыва коло Черногорця, дывлячысь на страшне одноборство.

Справди по полю мчалысь козаки. Попередь усихъ поспипавъ Сомко; за нымъ ще Паволоцькый Шрамъ; за ными ще съ пивъ-десятка комонныкывъ.

Скоро выйихалы зъ гаю, заразъ загледили на узгирьї нашихъ рубакъ. Небо вже на сходи сонця почервонило, и шаблюкы блыщалы здалеку, якъ красни блыскавыци. Не вонпывъ старый Шрамъ, що його Петро укладе Тура, дармо, що Турь такый коренастый. Якъ-же покыдалы козаки шабли да взялысь за запоясныкы, такъ у його й въ души похолонуло: не разъ бо въ такому одноборствѣ падалы передъ нымъ обыдва разомъ. Такъ же й тутъ сталося. Доскакуе Сомко изъ Шрамомъ до провалля, ажъ Кырыло Турь изъ Петромъ далы одынъ одному въ груди такъ щыро, що й повалылысь обыдва якъ снопы.



Глава девята.



Орногорець заразь кынувсь до свого побратыма, а Леся до Петра. Забула сердечна на той часъ и стыдъ и дивоцькый соромъ: загулыла йому хусткою глыбоку рану, а сама такъ и впала на його; плаче, голосыть, серденькомъ называе. Що їй теперъ и той ясный женихъ, и те гетьманство? Гаряча кровь б'є зъ раны въ Петруся, промочыла хустку, обмывае їй руку. Якъ-бы воля, оддала бъ теперъ Леся душу, абы обронуыть одъ смерти козака, що такъ щыро одважывъ за неи свою жызнь. Уже й Шрамъ изъ гетьманомъ, об'їхавшы байракъ, прыскочылы до того бойовыща, а їй байдуже; вона плаче, вона вбываецця надъ своимъ Петрусемъ.

„Годи, доню!“ каже Шрамъ. „Слизмы раны не заличышь. Дай лышь мы перетягнемъ їи поясомъ. Ще, може, не зовсимъ лыхо“.

А Сомко, щобъ помагаты Шрамови, або лютовать на комышныкывъ, винъ, замисть того, самъ давай рятовать одъ смерти Кырыла Тура.

„Бидна“, каже, „Турова голово! Я думавъ, ты тилько жартуешъ изо мною, по давньому, ажъ тебе справди заморочывъ нечыстый! Лучче бъ мини до вику не женытысь, нижь отсе бачыть тебе безъ памяты и гласу!“

А про те йому й байдуже, що молода його розливається слизими надъ иншимъ да взыває серденькомъ.

„Не знаю, пане гетьмане“, каже Шрамъ, „яке въ тебе й серце, щобъ возытысь коло сього собаки!“

„А що жъ, батьку? хіба такъ отсе його й покынуты!“

„Да нехай бы пропадавъ ледащо, якъ заслуживъ!“

„Ни, батьку, винъ не такъ думавъ, выручаючи зъ биды мою голову“.

„Выручаючи зъ биды голову! а теперъ трохы не згубивъ тобі молодой!“

„Молода, батьку, знайшлась бы й друга, а Кырыла Тура другого не буде“.

Леся дослухалась до його мовы. „Дакъ отъ якъ винъ мене любиты!“ подумала собі небога, и серце їи на-вики одъ Сомка одвернулось.

Шрамъ то жъ посупывся. Хотъ и не сказавъ, да подумавъ: „Йому жаль Сичового розбышакы, а що мій Петро лежыть безъ памяти, про те йому й байдуже“.

А Сомку не байдуже було й про Петра. Упоравшысь коло Запорозця, кынувсь и сюды. „Що панъ Петро? чи есть надія?“ пытае въ Шрама. „Визьмить мою опанчу да прыпнить миждо коней“.

„Гляды вже, пане гетьмане, свого Запорозця“, каже понуро Шрамъ, „а въ пана Петра есть батько“.

Та знявшы зъ себе рясу, и прыпавъ до коней. Положылы на рясу миждо двохъ коней Петра да й повезлы до подвирья прыдержуючы.

„Отъ де, сынку, довелось мини колыхаты тебе у козацькій колысци?“ каже, йдучы позадъ його, старый батько. „Не судывъ тобі Богъ заквитчатись смертны-

мы раны за Вкрайину, а доскочывъ йихъ за чужу молоду!“

Сомко хотивъ положыты въ таку колыску й Кырыла Тура — не пожаловавъ своей саетовой опанчы, якъ тутъ де не взялось двое Запорозчивъ. Наскочылы и заразы роспизналы, що сталося; не роспытывалы довго.

„Що це“, кажутъ, „панове, вы хочете робыты зъ нашимъ братчыкомъ? Невже винъ такой сырота, що якъ-бы не городови козаки, то оттутъ бы й оставсь на степу, звирю та птыци на поталу? Ни, панове! ще зъ-роду братчыкъ братчыка у чужыхъ рукахъ не кыдавъ. Оддайте намъ його! Е въ насъ свои лики — заразы поставымо його на ноги“.

Да не дожыдаючысь довго, моргнулы Черногорцеви, схопылы Кырыла Тура одынъ за плечи, другой за ноги, положылы поперекъ коней передъ собою, да й помчалысь якъ тыйи демоны. Богданъ Черногоръ слидомъ за нымы.

А Петра везлы тихою ступою изъ осторожностью.

Сомко повивъ за руку Лесю, про здоровье пытавъ, голубывъ; да вона вже до його була не та: за жалемъ да за тугою ни слова йому не промовыть.

Пройшлы за ярокъ, ажъ ось и Череваныха йиде на зустрічъ. Васыль Невольныкъ не жалуючы поганяе коней. Зрадила маты, якъ побачыла свою Лесю, що вже й казаты!

А Шрамъ смутно прывитавъ Череваныху: „Бачъ“, каже, „nene, чого твоя дочка наробыла! Уже де замишаецця вашъ жиночий ридъ, то добра буде мало“.

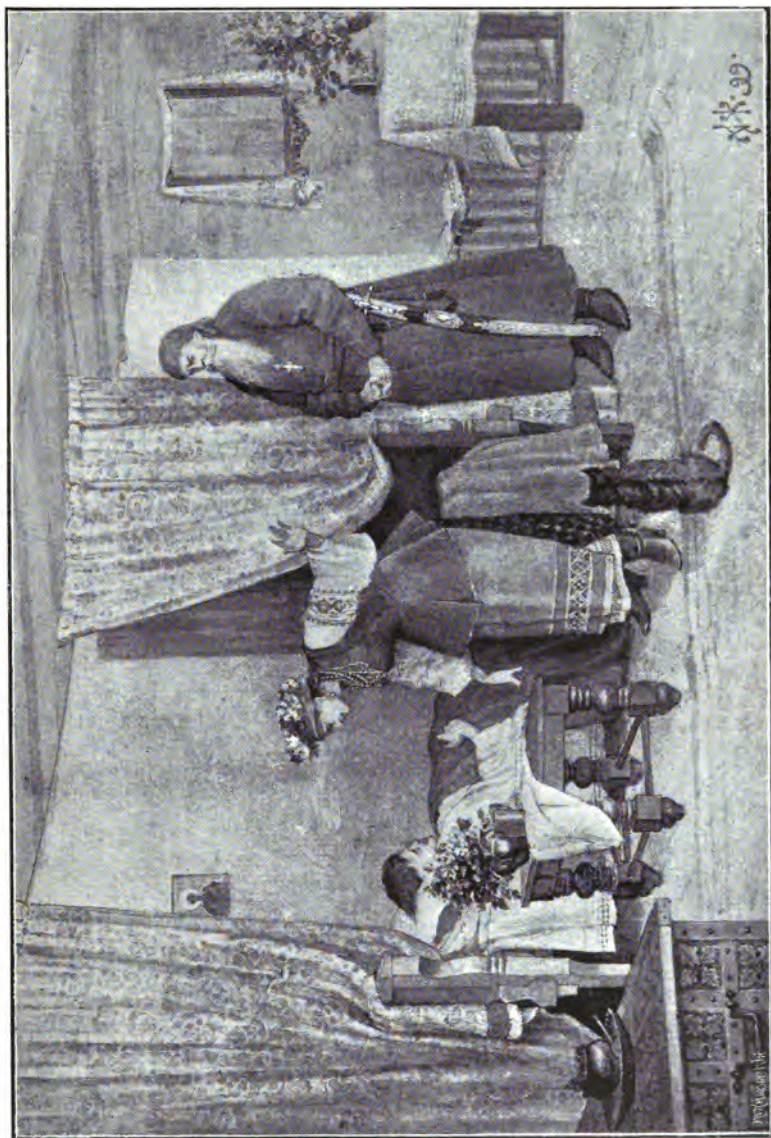
Посумовавшы Череваныха надъ Петромъ, роспытывшы въ дочки, якъ що було, ажъ сплакнула, да й

каже: „Уже жъ, панъ'отченьку, колы такє лыхо склалось черезъ мою Лесю, то мы зъ нею мусымо й запробиты сьому лыху. Везить пана Петра до насъ у Хмарыще. Не будемо ночей досыпаты, а вже його на ноги поставымо. Я на своему вику доволи поповязала ранъ козацькыхъ, да й Леся моя до сього дила здатня. Немовъ Господь намъ и поможе!“

Шрамъ изгодывсь, щобъ везты Петра просто до Хмарыща; а Черевань запросывъ гетьмана и всихъ пры йому знатныхъ козакывъ до себе въ гости.

Тогди Череваныха зъ Лесею пойихалы попереду, щобъ усе дома якъ слидъ спорядыты. Дорогою Леся десять разъ розказовала матери, якъ бывсь Петро изъ Кырыломъ Туромъ; и вже, чи дуже, чи ни, клопоталась у Хмарыщи Череваныха, щобъ заготовыть лижко недужому, а вона бильшъ ни про що й не дбала. У кимнати, де перше сама спала, послала йому на свойому лижкови перыну, убрала сволокъ свижымы, що найкращымы квиткамы, зависыла викно шытою хустыною, и вже й ридна сестра не буде така до брата, якъ вона була до бидолахы Петра. Гости Череваневи пылы, йилы, бенкетовалы въ Хмарыщи, або пробувалы зъ гетьманомъ у Кыви за вйськовыми речамы; Череваныха йихъ трактовала; а въ Леси тилько було й роботы, що копать коринне, варыть зилля да сыдиты надъ недужымъ. Допомагавъ ий Васыль Невольныкъ.

Петро мй мовъ у-друге на свить народывсь. Що йому теперь, що Леся не його сужена? Вона його любыть — бильшъ йому ничего не треба. Чи разъ же то въ недужи, одкрывшы очи, не то вви-сни, не то на-яву, бачывъ винъ, якъ вона, нахылывшысь надъ нымъ,



Вона заглядала йому въ вичи, довидуючысь, чи вернувся винъ икъ памяти. (Ст. 107).

пидстерегала, чи въ-гору, чи въ-нызь иде його здоровье? Якъ маты дытынку забавляе очыма, щобъ воно ий усмихнулось, такъ вона заглядала йому въ вичи, довидуючысь, чи вернувсь винъ икъ памяти.

А винъ же то, ослабшы усимъ тиломъ, живъ тилько сердцемъ, и хотъ не змигъ двыгнуты ни рукою, ни ногою, а сердце былось, якъ вода въ жерели въ крыныци. Не бажавъ бы винъ ни жызни, ни здоровья, колыбъ йому такъ и вмерты, дывлючысь у тыйи очи, якъ у чысту воду. У саду щербече соловейко; запашный витерець повивае въ викно скрызъ цвить садовыны; тыхе сонечко заходючы йграе по стини зъ вышневымы витамы; коло його сыдыть його Леся, бере його за руку, прыкладуе свою долоню йому до горячої головы... ни, не треба йому ни жызни, ни здоровья, дайте йому оттакъ зомлить, заснуть и не прокыдатыця до вику! Отъ же здоровье почало браты гору, наповняло козацьке тило, якъ вода колодязь; и губы зачервонилы, и очи зайгралы.

Радуетця старый Шрамъ, радуетця й гетьманъ, а вже ниhto бильшь, якъ сама Леся. Тилько ии радисть схожа була на мисяць пидъ негоду: то сыае винъ, якъ срибломъ сыпле, звеселяючы й поля, и села, и сады по-надъ ричкою; то зайде у хмару, и якъ зайде, то весь свить наче печаль покрые: ричка мовъ мертва, безъ искоръ, тече помижъ берегамы; почорнилы сады; по темныхъ поляхъ смутно. Небога Леся, то веселыця сердцемъ, то тяжко сумуе, якъ згадае, що мусыть одна-одынока тратыты молодойи лита у гетьманськый свитлыци, слушаючы тилько вйськовыйи росправы да погриманне кубкивъ за трапезою. Роспизнала голубонь-

ка, да пизно, що Сомко козакъ не до любощивъ. Нема въ його ни того нижного слова, ни того любязного погляду, що веселить дивоче серце. Гетьманъ винъ на всю губу, пышенъ и красенъ; да не згляне й не заговорить такъ одъ сердца, якъ той бидный Петрусь. Отъ же треба корытись своей доли; шкода й казаты батькови або матери. Нехай и самъ Петрусь про те не видае!

Ставъ винъ очуняты, стала вона ридше до його надходыты, нибы боитця його й соромытця.

„Чого ты, Лесю, наче ховаеся одъ мене?“ каже винъ ий разъ, пиймавшы ии за руку.

Вона ничого йому не сказала, тилько слизкы заблыщали на очахъ.

„Не ховайсь одъ мене, серденько“, каже Петро. „Будь мини за ридну сестру. Не судывъ намъ Богъ жыть изъ тобою, нехай оддають тебе за иншого, а я до вику не перестану тебе любыты, якъ свою душу“.

„Лучче вже зъ-разу розийтись да й не зустричатись!“ промовыла Леся, да й вырвалася одъ його и пийшла въ садокъ выплакаты свое горе на воли.

Отъ же не разъ и послы того прыйде було и сяде въ його коло лижка, — сяде, заспивае яку смутную писню; усе, що на души есть, усе выпивае. Ничого було й не говорить, дывлятця тилько одно на одного, а що на души робытця, усе йимъ розумно.

А Сомко про те не думае й не гадае; да й Шрамъ и Череванъ и сама Череваныха байдуже. Бо въ ту старовыну колы дивка заручена, то вже й годи, уже й не кажы, що не сей, а той мини любъ, ато на ввесь

свить пійде слава. Тымъ то уси булы й безпечни да й самы воны, Петро изъ Лесею, мовчкы сумовалы.

Тилько що знявсь Петро на ноги, ажъ ось надійшла Сомкови чутка, що воеводы одъ Царя прыбудуть швидко до Переяслава. Годи тогди зъ Череваня бенкетоваты; рушывъ заразъ Сомко у дорогу, щобъ прывитаты йихъ у себе въ гостыни. А Шрамъ соби ждавъ-недождався генеральной рады, щобъ, забравшы съ того боку уси козацькы потугы, йты на Тетеру. Череваныси було на думци гетьманське весилле, а Черевань радъ бувъ гуляты хоть до-вику мижъ веселымъ козацтвомъ. И такъ мижъ собою урядылы, щобъ йихавъ винъ изъ дочкою пидъ Нижень до свого шурыка Гвынтовкы, осаула полкового Ниженського; а Шрамъ зъ сыномъ мавъ йихаты у Переяславъ до Сомка гетьмана, и щобъ, одбувшы воеводъ, справыты гетьманське весилля на всю Украину, и на весилли разомъ усю старшыну до походу на Тетеру прыклоныты, да зъ-разу його мовъ ситкою й накрыты, щобъ не було двоухъ гетьманивъ на Вкрайини.

Якъ ось, выйжджають за Броварський бирь, за пискы, ажъ изъ Переяслава до Сомка гонецъ курыть. Хто жъ той гонецъ? самъ Переяславський сотникъ, Иванъ Юско. Скоро наши распизналы таке дыво, заразъ наче хто й сказавъ усякому, що склалось щось не добре.

„Изъ якими вистьмы?“ пытае гетьманъ.

„Богдай и не казаты, пане ясновельможный!“

„Що? не вже Татаре?“

„Гиршъ одъ Татарь! Изъ одного Васюты наро-

дылось тоби, пане гетьмане, четверо, колы не личыть Иванця!“

„Да кажы просто, щобъ тоби языкъ усохъ!“
крыкне Сомко.

„Лучче, якъ-бы всохъ, пане гетьмане, нижъ возвищаты тоби таку висть! Зиньковскый, Миргородскый и Полтавскый поклонылысь Иванцеви!“

„Якъ? мои полковныкы перейшлы до Иванцевого боку?“

„Уси трое, якъ чуешъ, пане гетьмане“.

„И Мыргородскый, и Полтавскый, и Зиньковскый?“

„Уси трое; оставсь пры насъ по сѣй бикъ Ниженя тилько Лубенскый да Гадяцкый“.

„Чому жъ мини не дано звисткы?“

„Ще не пройшло й дня, якъ прыйшла вона у Переяславъ“.

„Що жъ? якъ? чи колы? хоть розкажы толкомъ“.

„А отъ якъ“, каже сотныкъ Юско. „Йиздывъ нашъ бурмыстеръ до князя Ромодановського зъ грошыма у Московську казну; ажъ чуе, що князь у Зинькови. Завернувъ туды, ажъ тамъ Остапъ Мыргородскый и Демьянъ Полтавскый зъ старшыною; бенкетують уси у Зиньковского Грыцька. Ну, се жъ ище ничего. До князя, ажъ у князя повно Запорозцивъ, и все съ тыхъ гольтыпакъ, що попропывавшы худобу, служылы въ козакивъ по дворахъ, а дали, не звыкшы слухаты господаря, повтикалы пъянствоваты на Запорожже. Пизналы де-яки бурмыстра. „Чи не одъ крамаря“, крычать—уже выбачай, ясновельможный, у симъ слови — „чи не одъ Переяславського крамаря до князя?“

Чорта зъ два тутъ пожывытесь! Ось мы васъ, городо-выхъ кабанивъ, хутко впораемо!“ Розслушаетця, ажъ тутъ ось яка вродылась новына—богдай мини не чуты и не казаты! Князь изъ Иванцемъ побратавсь, зове його гетьманушкою Запорозькымъ, отдавъ йому, покы що, Украйиною по Ромень владиты“.

Сомко ажъ за голову взявся. „Мыргородський“, каже, „Полтавський.. проминяты мене на Иванця! Ни, пропала вже, бачу, рыцарская честь на Вкрайини! положиылы мы ии зъ батькомъ Богданомъ у домовыну! Да гляды лышгъ“, каже Юскови, „чи правда ще сьому?“

„Ой, колыбъ-то сьому була брехня!“ одвитуе Юско. „Такъ отъ же истынно, що Иванецъ у Зинькови гуляе въ князя. Бачывъ його бурмыстеръ, такъ якъ ты мене, пане ясновельможный. А запорозьци, кажутъ, вельку ласку у Царя мають и чого попросятъ, усе Царь по йихъ робыть. Тымъ-то князь, зазвавшы полковныкывъ до Зинькова, погодывъ йихъ, царевымъ словомъ, слухаты Иванця якъ гетьмана. А въ насъ теперъ бачъ, якъ завелось? що коженъ себе глядыть, абы йому було добре. Запобигаючы царской ласкы, уся трое згодылысь, щобъ Иванецъ по Ромень Украйиною правывъ“.

„Такъ, такъ!“ каже гирко Сомко, „гетьмануй надъ нами хто хочъ — чи рыцарь, чи свынопасъ — абы мы полковныковалы. О несытая жадоба старшыновання! теперъ-то я побачывъ тебе въ вичи. Гнесся ты передъ усякою поганню въ дугу, абы тилько верховодыть надъ иншымы!... Ну, а Васюта жъ? и той поклонывсь Иванцеви?“

„Ни, мабутъ“, одвитовавъ сотныкъ Юско, „бо,

каже бурмыстеръ, попывшысь Запорозци, и на Васюту похвалялысь да й на всю городову старшыну недобримъ духомъ дышуть, а найбільшъ тыйи, що зъ вынныкивъ да зъ парубкивъ, що которого хазяйинъ колы вдарывъ, або злаявъ, то вже теперь похваляютця за все оддячыты“.

„Ось якымы новынкамы прывитають насъ у мойй гетьманщыни!“ каже, гирко всмихнувшысь, Сомко до Шрама. „Ну, да ще помиряемось, чья визьме. О, да й провчу жъ я своихъ зрадныкивъ.“

„Що жъ ты, сыну, думаешъ чыныты?“ спытавъ Шрамъ.

А що жъ! йихаты до Переяслава, постягаты до обову пидручныйи мини полкы, да й стоять хоть протывъ цилого свиту! Що мини тыйи князи да бояре? Що се воны выдумалы — шматоваты Украйину? Наше право козацьке, ниhto миждо насъ не втручайся! де два козаки, тамъ воны третьего самы судять. Побачымо, чья буде сыла!“

„И отсе“, каже Шрамъ, „замисть войны зъ недоляшкомъ Тетерою, заведетця вййна мижъ сьогобочнымы полкамы! бо вже колы загарбавъ у свои руки Иванецъ тры полкы, то безъ бою його зъ Украйины не выпрешъ. А Васюта соби пидниметця, бо за нымъ уся Сиверья, уся Стародубивщына потягне. Дождыдайтесь же теперь, Паволочане, покы Сомко справытця зъ своимы ворогамы! Колыбъ ище пидъ сю заверуху самъ Тетера не перелизъ черезъ Днипро; бо въ йихъ зъ Ляхама щось таке вже компонуецця.“

„Ну, а що жъ бы ты робывъ, батьку?“ пытае гетьманъ. „Порадь мене своею головою; я тебе послухаю“.

„Отъ що я тоби пораявъ бы! Йидь лышь ты у Переяславъ, да пышы лысты до усихъ полковныкивъ, щобъ убоялысь Бога, да подумалы про козацьку славу, що ось Иванецъ простягае руку, щобъ ии скаляты, въ-нивецъ обернуты. А я тымъ часомъ пойиду съ Череванемъ у Нижень. Я одкрыю божевильному Васкоти очи, що й самъ пропаде, и другимъ наробыть лыха, якъ не буде за тебе держатись. Нехай лышь винъ прыложить свои потугы до твоихъ; тогди у усякого руки опустятця, а твои полковныкы зновъ до тебе вернутця“.

„Нехай теперь вертаютця, а вже не я буду, колы не зроблю зъ нымы такъ, якъ покійный гетьманъ изъ Гладкымъ.

„Ну, не хвалысь ище, сынку, да Богу молысь“, сказавъ понуро Шрамъ. „Тогди скажешъ гопъ, якъ перескочышь. Не тратьмо дармо часу, попрощаймосъ“.

Прощалысь и розъйихалысь. Нихто никому не сказавъ на прощанне веселого слова. Усимъ на серце пала тяжка туга, мовъ передъ якимъ великимъ горемъ.

„Эге-ге! бачу, бачу, куды доля хылыть Украйину!“ говорывъ самъ соби Шрамъ, понурывшы голову. Йихавъ позадь усихъ, не хотивъ ни съ кымъ розмовляты. „Не вже жъ“, каже, „отсе справди усе й роскопытця, якъ горохъ изъ жмени? Не вже жъ на те козаки войовалы и кровь свою промывалы, щобъ пропала козацька слава порошыною зъ дула?“

Да й згадавъ старый смутну писню, що зложывъ Божый Чоловикъ, якъ умеръ батько Хмельныцький?

Чи вже жъ дармо тая безшасна Украйина Богови молыла, Щобъ мицна Його воля съ-пидъ кормыгы Лядської слобоныла,

На позоръ да поругу невірнымъ не давала, щастемъ на-
дидыла,—
Чи вже жъ дармо вона Богови молила?

„Мабуть, що дармо“, думає собі Шрамъ, „ма-
буть, не така Божа воля, щобъ Украина зъ упокоємъ
хлиба-солы ужывала! Чи, може, приходится уже ки-
нець свиту, що возстане свій на свого? И звездкы жъ
пидіймаецця хмара, Боже Ты мій мылий?... Запорожжя
перше було гниадомъ рыцарства козацького, а теперъ
выводить тилько хыжыхъ вовкивъ да лысыць. Отсе,
мабуть, дожились вражи сыны до порожнихъ кышень.
то й заводять мижъ народомъ трусу, щобъ пидъ кала-
мутный часъ людськымъ добромъ поживытысь. Завидно,
мабуть, стало проклятымъ сиромахамъ, що въ Городо-
вого козака повно въ господи. А якый же врагъ по-
сылавъ на Запорожжя, якъ, по розгроми Ляхивъ,
усякому було вильно займаты займанщину? Ни, ось
пйдемъ рыцарьоваты! Пъянствовать, да баглаи быть,
а не рыцарьоваты!... Пожалуй, инши спасени души
справди одбиглы займанщыны, яко суеты мырської; а
другый розбышака пйшовъ у Сичъ, абы не робыты
дила на господарстви. Отъ и нарыцарьовалы! ути-
шайсь, Украйино, свойимы диткамы! Иванецъ пидле-
стывьсь до Сичовыкивъ, да теперъ и койить съ-пидъ
рукы въ князя, що хоче. Бачу, до кого винъ добы-
раецця—хоче Сомкови дружбы доказаты, да ще жъ
Богъ насъ не зовсимъ покынувъ; ище, може, наберет-
ця сотня-друга вирныхъ душъ на Вкрайини!“

Мизкуючы такъ, слушае, ажъ испереду пиднявся
якыйсь галась. Косылы надъ дорогою косари, а одынь
упывсь, да й простягсь середъ шляху; а Васыль

Невольникъ, мабуть, задримавъ да й найихавъ; отъ и счынылась заверуха. Завзятый пидъ ту чорну раду сільськый людъ изробывся.

Шрамъ стыснувъ коня острогамы и пидбигъ швыдче до рыдвана.

„Кармазыны!“ гукалы пъяни косари, „изновъ роплодылась вельможна шляхта помижъ мыромъ! да намъ не вперше выкошуваты сей бурьянъ по Вкрайини!“

Да й точатця до рыдвана, махаючы косама. А одынъ претця зъ сокырою, щобъ прытьмомъ колеса рубаты.

„Геть, Иродовы души!“ крыкне на йихъ Шрамъ.

Побачывшы передъ собою попа, уси заразы трохи й зупынылысь.

„Що се?“ каже Шрамъ. „Чи вы Туркы, чи Татаре, що нападаете на подорожнихъ! Чи въ васъ Хрыстыянська душа, чи вже и Бога й виру забулы?“

„Ни, пан’отче“, обизвавсь одынъ, „не забуде чоловікъ Хрыстыянської виры до-вику! та якъ же стерпиты, колы прытьмомъ давять кармазыны людей по дорогахъ?“

„Да ще, слава Богу, въ насъ руки не въ кайдапахъ!“ овалось уже двое, чи трое: „ще не попустымо глумытысь надъ собою! Буде вже й того, що одынъ свыту золотомъ гаптуе, а инший, може, й сирячыны не мае; одынъ окомъ своихъ синожатеѣ не займе, а мы ось изъ пѣловыны косымо. А выбывалысь изъ-пидъ Ляхивъ уси у-купи“.

„Такъ! бачу, бачу!“ каже самъ до себе Шрамъ, „усюды пробралась изъ Запорожжя халепа!“

„Изъ Запорожжя!“ кажуть, „де тоби, пан’отче, изъ Запорожжя? Це все наши городови коять, а на Запорожжи усякъ ривень. Нема тамъ ни панивъ, ни мужыкивъ, ни багатыхъ, ни вбогихъ“.

„Бидныйи, слипорожденныйи вы диты!“ сказавъ йимъ скрызъ слёзы Шрамъ. „Нехай Господь змылуеця надъ вашою темнотою! Пустить коней, пустить! не заступайте дороги, ато я призову на ваши главы проклятіе Господне!“

„Ну вже пустимо, ничего робыты“, кажуть косари, росходючысь по бокахъ дороги. „Знавъ ты, пан’отче, що сказаты! А вже, якъ-бы не ты, то мы бъ дознались, изъ якого дерева повыточувани спыци въ рыдвани. Не оборонылы бъ його й позлотыстыйи цяцькы, що дурныйи Ляхы повымудровувалы!“

„Нехай васъ Богъ помылуе!“ каже одъйиждаючы Шрамъ. „У тяжкому недужи вы ходыте! Прокляты прокляты хымородныкъ, що заморочывъ вамъ головы!“

Оттаки песни слухалы наши подорожни до самого Ниженя. Чи зайиждавъ Шрамъ до кузни, пидковаты коню пидкову—у кузни коваль, забувшы про зализо въ горни, балакавъ съ хуторянамы про чорну раду: „Що вы, каже, „лагодыте чересла та лемешы? лагодыте лучше батькивски спысы, бо буде хутко усимъ работа. Йихалы въ Нижень Запорозци, дакъ казалы, що зновъ пиднявсь такой гетьманъ, якъ Хмельныцькый“. Чи сходылась де у сельци мижъ мыромъ судня рада — диды, замисть, щобъ укладаты громади судъ, розказовалы, звидкы почалось козацтво и якъ увесь мырь выбывсь бувъ изъ-пидъ Ляхивъ и недоляшкывъ на волю. „Що теперь за державци-козаки?“ каже инша

сыва борода (бо тогда поважни посполытыйи люде носылы борода), „ще зъ такымы можна поборотысь. То онъ якъ за Налывайка, або за Павлюгу булы Ляхы державци да недоляшкы! одынъ надъ сотнею силъ. Та и зъ тымы якось же наши справлялысь. Онъ, якъ бувъ Кысиль, або Вышневецкый Ерема... батечкы! було йдешъ, чумакуючы, степомъ! Чые село? „Вышневецкого“. Чыйи ланы? „Вышневецкого“. Чые старство? „Вышневецкого“!... „та й за тыждень не перейдешъ його державы. Знаете, робылы тыйи великыйи паны съ королемъ, що хотили, дакъ уси города й прыгороды пороздававъ йимъ король то на старства, то на волосты. Да й зъ такымы жъ то, кажу, дукамы батькы вапи справлялысь“.

Оттакъ якъ зачне оповидаты, мовъ изъ пысьма беручы, сыва голова, то судня рада й про свій судъ забуде.

„Ну якъ же, якъ выбывалысь наши зъ-пидъ Лядськой кормыгы?“ пытають молодши.

„Ге, якъ! Бигъ нашымъ помагавъ. Ляхы да недоляшкы думалы, що якъ прытопчуть козака, або посполытого, то й лежатыме, мовъ хворостына на гребли; малы воны насъ за скоть незмысленый. А нашъ братъ, сирома, у своій драній свытыни, що день, що ничъ, зъ плачемъ зове на помичъ Бога. Ляхы да недоляшкы тонуть було у перынахъ, пьють, гуляють, а нашъ братъ, якъ той невольныкъ до отца-матери, озываетця до Бога, нередъ Богомъ душу свою, якъ горющу, невгасыму свичку, ставыть: тымъ-то и не слабло наше сердце, тымъ-то мы смилыво рушалы супроты нечестывой сылы, и Господь по всякъ часъ помагавъ намъ!“

Да оттакъ гурорыть-гурорыть сильска громада, да й зачне ту Хмельныщину до своего часу прыкладуваты, зачне перебираты, якъ хто съ козацькой старшыны розбагативъ и съ чого-то такъ на Вкраини стало, що въ одного ни грунта, ни хатыны не мае, треба въ пидсусидкахъ прожываты, а другый на свои ланы людей не назоветця, за всю осинь не обьоретця. Отъ иншый тутъ зновъ прыйме ричъ, да й пійде про займанщыны выкладоваты: „Якъ слобонылы наши зъ Божою помиччу одъ Ляхивъ Украйину, дакъ тоди по обыдва боки Днипра уся земля стала козакамъ спильня и обща. Отъ и давай дилыть по полкахъ Украйину: одни села до одного полку, а други до другого тягнуть, и у полковому городи судову справу соби мають. Ну а въ полкахъ осяглы козаки й позаймалы земли пидъ сотни, а въ сотняхъ пидъ города да пидъ села; а тамъ уже пидъ свои дворы, хуторы да левады. Отъ бы, здавалось, и добре, та горе, що старожытни козаки, що зъ предкувику козаками бувалы, вйськовий черни позавыдилы, не схотилы дилытысь ривно. „Яки вони“, ка-„жутъ, „козаки? Йихъ батькы та диды зъ-роду козацтва „не знали. Зробымо перепысь, и хто козакъ, той воль-„ность козацькую матыме, а хто пахатный хрестянынъ, „той нехай своего дила глядыть!“ Зчынылась була буча не мала: поспильство своего козацтва ришатысь не хотило, що ледви покійныкъ Хмельныцькый утыхомырывъ. И ото, котори багати, що на доброму кони збройно до обозу могли выйижджаты, тыи zostалысь козаками и до леестру козацького запысани; котри жъ ходылы пихомъ, дакъ zostалысь у поспильстви (опричь мищанъ, що по городахъ торгы и коморы крамныйи малы), осн

лы на ранговыхъ, або на магыстратськихъ та на чернечныхъ грунтахъ, або у шляхты та въ козакивъ пидсудкамъ, а инши zostалысь козацькымы пидпомошныкамъ, що двадцять, трыдцять чоловикъ одного козака зпоряжають. Ци бъ то, може, й соби, якъ отъ и мы, козацькои вольности пошуканы, колы жъ не сыла! Якъ старшына зъ гетьманомъ роспорядыла, такъ и zostалось. Давай посполытый до скарбу и подачку одъ дыму, давай и пидводу, и гребли по шляхахъ гаты, а козакъ, бачъ, ничего того й не знае. Прийде було полковникъ, або вйськовый старшына, до гетьмана: „Благословы, пане гетьмане, заняты займанщину!“ та й займе, скільки окомъ закыне, степу, гаивъ, синожатей, рыбныхъ озиръ, и вже це його родова земля, уже тамъ пидсудокъ хочъ жывы, хочъ до другого державци, колы не любо, вбрыйся. Зновъ прийде сотникъ, чи осауль, чи тамъ який хорунжий полковый, до полковника: „Благословы, батьку, заняты займанщину!“ — „Займы, „сынку, скільки конемъ за день обьидешъ“. А сотныкы козакамъ займанщыны по всій сотни роздавалы. Обьоре плугомъ, обнесе копцями, ровомъ обкопае, або огрянычыть клякамы, та вже й не суньсь туды нашъ братъ; де забъе на болоти палю, тамъ уже ты млына не будуй: самъ винъ, або його диты збудують. Оттакъ-то, братци, оттакъ-то диты, тыйи багатыри, тыйи дукусриблянныкы зъ голоты росплодылысь! У Хмельныщину ридко який шляхтычъ зачепывсь на Вкрайини, прыставшы у козацтво, а теперъ йихъ не переличышь! Де-яки повылазылы зновъ изъ Польци та повыпрошувалы въ гетьмана батькивщину або матерызну; а бильшь сього вельможества изъ козацтва такы начынылось. И

вже иншый и забувъ, изъ чыйимъ батькомъ разомъ до вйська у сиромязци йшовъ. Той же зоставсь у-въ убозстви, а йому фортуну на войны послужыла, у старшину, у значне козацтво ускочывъ, а дали займанщину занявъ, свыту гаптуе, а мы симрягы мовчки латаемо. Оттакъ-то, братци! оттакъ-то, диты!“

А Шрамъ зъ-боку слухае-слухае, да не знае, що вже тымъ нависнымъ речныкамъ й казаты.

„Ничого й ричей дурно тратыть“, думае соби. „Тутъ, бачу, довго хтось поравсь, а не хто бильшь, якъ оттыйи проклятыйи комышныкы! Бачъ, яку старовыну розворушено! Тогди жъ и Богъ благословывъ протывъ гордыхъ дукивъ да беззаконной шляхты ставаты; а теперъ Иванецъ для своей корысти ровдувае старе огныще. Темный людъ закарбовавъ соби въ голови *кармазыны* да *нашыйныкы*, такъ теперъ тилько тюкны, винъ по готовому слиду безумныйи речи й городыть, самъ себе возмущае, а лукавый Иванецъ тымъ часомъ до своего добираетця! Велька буде мылость Божа, якъ мы його подужаемо!“





Бачить жинка, што нікуды втікаты, давай кругъ Шрамоваго коня бигаты. (Ст. 121).

Глава десята.



ругого дня, на заходи сонця, зблыжылысь наши подорожни до Гвынтовчыного хутора, що стоявъ трохи у боку одъ Ниженя, середъ гарной дубовой да липовой пуци.

Пройижджаючы мымо ковалеву хату (у пуци живъ коваль хуторськый), тилько що Шрамъ одризнывся одъ своихъ, щобъ поспытаты, чи дома панъ Гвынтовка, якъ изъ дверей мовъ лыхый пхнувъ жинку, трохи коневи пидъ ноги не сунулась; а за нею зъ макогономъ выскочывъ съ хаты чоловикъ.

„Уже жъ“, каже, „я тоби дамъ за ци писни! добравсь теперъ я до тебе!“

Бачыть жинка, що никуды втикаты, давай кругъ Шрамового коня бигаты.

„Ось“, каже, „лыхо вельке! Хиба нельзя вже й заспиваты:

Ой ты, старый дидуга,
Изигнувся якъ дуга,
А я, молоденька,
Гуляты раденька...!“

Чоловикъ справи вже бувъ сывый, а жинка чорноброва й молоденька.

„Ось постой“, каже, „суча дочко, дай мини тебе

за космакы пійматы; я тобі покажу свою старисть!...
Смійся, смійся! засмієся ты въ мене на кутни!...
Моргай, моргай! ось якъ моргну тебе, то й ногамы
вкрыєся!“

Та й давай гасаты за нею кругъ Шрамового коня.

А вона: „Оддышь бо трохы, Остапе! бачъ, якъ
засипся! А я тобі заспиваю другою, колы, ціи не впо-
добавъ“.

Та й заспівала, танцюючи кругомъ да плещучы
въ долони:

Колыбъ мини або такъ, або сякъ,
Колыбъ мини Запорозькый козакъ,
То бъ винъ мене сюды-туды повернувъ,
То бъ винъ мене до серденька прыгорнувъ!

„Э, дакъ онъ якои ще!“ закрывавъ чоловікъ. „Уже
жъ теперъ видъ мене не влызнешъ! То-то я бачу, що
Запорозци щось дуже часто заходять до тебе, суку,..
води напытьця! а въ йихъ не вода на думци“.

Да й почавъ изновъ ганятыся за живкою. А вона
бигає кругъ Шрамового коня да ще бильшь його дратує.

„Згыньте вы къ нечыстому!“ каже Шрамъ, „дайте
мини пройихаты!“

„Де жъ мини, пан'оче, дитыся?“ каже жинка.
„Винъ мене вб'є, якъ наздожене. Тутъ хочъ дурный,
та такый злый, якъ собака“.

„Соромъ тобі“, сказавъ тогди Шрамъ чоловікови,
„соромъ тобі изъ сывымы усыма та блазнемъ себе
являты!“

Коваль тогди розшолопавъ, передъ кымъ винъ есть,
уклонывсь пан'отцеви да й потягъ у хату, піймавшы

облизня. Тилько на порози ще посварывсь макогономъ на жинку, а вона йому регочучы показала дулю.

„Чи дома панъ осауль полковый?“ поспытавъ у неи Шрамъ.

„Та дома!“ каже. „Тамъ усе зъ Запорозцями бенкетуе“,

„Якъ? Гвынтовка зъ Запорозцями!“

„А чому жъ, пан'оче? Хиба не знаете, що Запорозци теперь перши люде въ свити? Кажуть, подаровавъ йимъ Царь усю Вкрайину“.

„Щобъ ты окаменила, якъ Лотова жинка, за таки речи!“ крыкнувъ зъ досады Шрамъ, да скорійшь и пойихавъ одъ неи.

„Силь тоби на языкъ, печына въ зубы! оддала потыху ковалыха, бо була трохи пьяненька.

Наздоганяючы свойихъ, Шрамъ ище разъ зупынивсь, стрившы Божого Чоловика.

„Откакъ“, каже, „диду! не схотивъ йихаты зо мною, да перше мене тутъ опынввся!“

„Э, да се Шрамъ до мене говорить!“ каже Божый Чоловикъ.

„Якъ отсе тебе Господь сюды занисъ?“ пытае Шрамъ.

„Да отъ, попали мене у свои руки прощальныкы, сыплють срибло-золото, не одпускають одъ себе жадною мирою, да отсе й пидъ Нижень затыглы“.

„На що жъ ты йимъ тутъ здався?“

„Оставылы на мои руки товарыша. Занедужавъ у йихъ куринный. „Одходы намъ, батьку, сього козака, такъ мы тоби поможемо не на одного невольныка“. Такъ отсе живу тутъ да й няньчусь изъ нымъ, якъ

изъ дытнюку: то спиваю йому, то що. Здобувсь добре сиромаха. Той самый, що съ твоимъ Петрусемъ испивсь“.

„И отсе тоби одогриваты такую гадюку!“

„А чому жь? мини уси вы ривни; я въ ваши чвары да свары не мишаюсь“.

„Иродова душа“, каже Шрамъ, „трохы мини остатнього сына не спровадывъ на той свить!“

„А що бакъ твій Петрусъ? якъ маецця?“

„Тутъ изо мною. На-сылу бидный на ноги знявсь“.

„Такъ вы отсе въ Гвынтовкы гостьоватымете?“

„Хто въ Гвынтовкы, а я пойду просто до Васюты“.

„Не застанешъ ты Васюты въ Нижени; пойхавъ, кажутъ, у Батурынъ на раду“.

„На яку раду?“

„Хто жь його знае, на яку! Усе, мабуть, про гетьманство клопочетця, такъ отъ изозвавъ раду ще въ Батурыни“.

„Такъ и Гвынтовка тамъ?“

„Ни, мабуть, йому не треба Гвынтовкы до сього дила. Ато чому бъ не зозвать рады у своему столечному мисти? Да цуръ йому! що намъ до того? Прощай, пан'отче, не задержуй мене“.

Да зъ симъ словомъ одвернувся и пийшовъ соби гаємъ.

Шрамъ наздогнавъ свій пойиздъ коло высокихъ ворить пана Гвынтовкы.

Будынки въ сього значного козака булы не Череваневыхъ; гонтова крыша высоченна, у два пятра; а въ крыши викна повыроблювани, и ризаную мерезкою скривъ гарно облямовани. Зъ верху крыши по рижкахъ

шпыли, а на верхъ комина вертытця по витру залізный пивень. Панський будынокъ бувъ. А посередь двора въ Гвынтовкы стоявъ стовбъ, и въ стовбу усе кильця, то залізни, то мидни, то срибни. Ото знакъ, що простый козакъ або посполытый вяжы коня до залізного; а хто значный козакъ, то до мидного; якъ-же хто ривня господареви, такъ той уже до срибного.

Череваныха, розгледившы те все, обернулась до Шрама, да й каже сміючысь: „Не дурно жъ, мабуть, у мого брата жинка княгыня: у його все не по-нашому“.

А Шрамъ понуро: „Се вже такъ: дьогтярь и смердыть дьогтемъ. Колы взявъ Польку, то вона тебе наскризь своимъ духомъ пройме“.

Якъ ось, тилько що наши вѣйижджають у ворота, ажъ панъ Гвынтовка вертаетця съ польовання въ други. Кругъ його хорты на мотузкахъ; за нимъ йидуть козаки, трублять у рогы, да ще паръ зо дви й воливъ ведуть за собою.

„Эге, добродійко!“ каже Шрамъ Череваниси, „да твій братъ справди, бачу, у паны пошывся. Колы козакъ водывъ хорты за собою на мотузкахъ?“

„Се ще не дыво“, каже Череваныха; „а дыво, що онъ якого звиря впольовалы!... Якъ ся маешъ, якъ живешъ, пане брате? Закрычала до Гвынтовкы. Привитай лыщъ нежданныхъ гостей“.

„И жданныхъ, и давно званыхъ!“ каже Гвынтовка, пидѣйижджаючы до рыдвана. „Чоломъ, кохана сестро! чоломъ, любый зятю! чоломъ, панно небого! Э, да хто жъ отсе ще зъ вами? Невже се панъ Шрамъ?“

„А кому жъ бы була нужда“, каже Шрамъ, „за-

быватысь сюды ажъ изъ Паволочы? Ось мій и сынъ, пане полковый осауле, тоби до послугы“.

„Ну вже такой радости я й не сподивавсь!“ каже Гвынтовка. „Настусю, Настусю серденько!“ крикне, обернувшись до будынка, „вийды лышь подывысь, яки до насъ гости завыталы!“

У дверяхъ зъ будынка показалась госпоdynя. Ще була молода й хороша, тилько блиднолыка пани. Заразъ було выдно, що се не нашого пера пташка. Не та въ ней хода, не та й постать, да й Украинська одежа якось ий не прыпадала. А гарна, чорноброва була пани.

„Княгыне моя! золото мое!“ каже ий Гвынтовка, „прывитай же мойихъ гостей щырымъ словомъ и ласкою. Отъ моя сестра зъ дочкою; отъ мій зять; а ось высокоповажный панъ Шрамъ изъ сыномъ. Його всякъ знае на Вкрайини и въ Польци“.

Княгыня зійшла зъ рундука на зустричъ гостямъ, веселенько всмихаючысь, тилько дывылася якось такъ жалибно, що ажъ чудно усимъ здалось. Заразъ можна було догадатысь, що въ ней лежыть на души якесь тяжке, невсыпуще горе.

Гвынтовка скочывъ съ коня, узявъ свою жинку за руку и пидвивъ до рыдвана. А Череваныха зъ дочкою то жъ вылизлы зъ рыдвана, щобъ прывитатысь изъ своею вельможною родычкою. Оглядують тую княгыню, якъ яке дыво; до ней, ажъ княгыня наче йихъ и не бачыть. Щось друге въ ней передъ очыма; ажъ помертвила, наче щось страшенне побачыла. Дали, якъ крикне не своимъ голосомъ: „Рыдванъ!“ да й ушала безъ памяти.

Уси засмутылысь; не знали, що се зъ нею сталося.

Одынъ Череванъ усмихавсь, догадавшысь, що тому за прычына.

„Ге! не дывуйтесъ“, каже, „бгатци: рыдванъ сей узялы мы пидъ Зборовымъ, а въ рыдвани сыдивъ князь изъ княжамъ. Князя жъ погналы Татаре до Крыму, а княжа вражи козаки, насунувшысь, киньмы затопталы“.

Княгыню тымъ часомъ пидвелы зъ земли. Здыхнула небога на витри, да, мабуть, почувшы, що сказавъ Череванъ, ажъ застогнала, наче ии хто ножемъ шпырнувъ у сердце.

„Бачъ, Лядське кодро!“ каже тогди скризь зубы Гвынтовка. „Я думавъ, вона вже забула прежни норovy, ажъ, мабуть, вовка скилько хочъ годуй, а винъ усе въ лисъ дывытыметця!“

„Га-га-га!“ засміявсь Череванъ. „Хиба жъ я тоби не казавъ: „Эй не беры, бгате Матвію, Ляшкы: не буде тоби зъ нею щасливого жыття!“

„Цуръ йому!“ каже Гвынтовка. „Годи вже про се! Просымо до господы, дорогойи гости. Вы, чорты!“ гукнувъ Гвынтовка на свои слугы, „чого стойите поторопившы? Однесите панію въ покои“.

„Скажы, Бога рады“, спытавсь у Гвынтовкы Шрамъ, якъ увійшлы до свитлыци, „що отсе за дыкый звирь изъ рогамы показавсь у Ниженськихъ пушахъ? Ганялысь наши батькы по низовыхъ степахъ за билорогемы сугаками; ганялысь наши диды, колы правда, що спивають у писняхъ, и за золоторогемы турамы по Днипровыхъ борахъ, а на такого тяжкононого звиря ще зъ-роду ниhto не польовавъ“.

„Иншый“, каже, „пан’отче, теперъ часъ, иншыи й звичайи. Сугаки да туры йилы одну траву, а сей

тяжконогий звирь перегрызае дубъ и всяке дерево, пры самому корени“.

„Га-га-га!“ засміявсь веселый Черевань, „се вже, бгатику, спражня загадка“.

„Онъ, бачыте“, каже Гвынтовка, „идуть у двирь, познимавшы шапки, Ниженськи кушнири да салогубы? Яки теперь смырни та покирлыви, що въ мене волы въ двори; а пійды поговоры зъ йимы въ магыстрати: тамъ заразы покажутъ тоби трухлый шпаргалъ изъ выслою печаттю!“

„Да що жъ тоби заподіялы си добри люде?“ пытае Шрамъ.

„Справди, що добри!“ каже всмихнувшись Гвынтовка. „Колыбъ ты почувъ пан’отче, якъ си добри люде на городову старшыну зъ Запорозцями похваляютьця! Запорозци теперь зъ мищанамы якъ ридни браты пьють да komponують у-купи, якъ бы нашому брату яму выкопаты. И така завелась смилость у вражыхъ мугыривъ, що йиде значный козакъ улыцею, ништо й шапки не ламае“.

„Да пидожды жъ, пане брате“, каже Шрамъ, „а ты жъ самъ чья сторона?“

„Отсе ще!“ каже Гвынтовка. „А вже жъ гетьманська“.

„А чого жъ ты водыся зъ Запорозцями?“

„Хто се тоби сказавъ?“

„Хто бъ не сказавъ, а чутка така, що ты бенкетуешъ изъ нумы неагиршъ одъ мищанъ“.

„Плюй ты, пан’отче, тому въ вичи! Щобъ отсе я, будучы паномъ на всю губу, не знайшовъ соби лишшой компаніи надъ Запорозьку челядь!“

„Такъ, такъ“, каже соби скризъ зубы Шрамъ, „бачу вже я добре, що ты панъ, хоть и не кажы“.

А Гвынтовка глянувъ у викно да й гукнувъ на свои слугы: „Хлопци! быйте вразькихъ лычакивъ по гамалыкахъ! женить батогамы зъ двора Хамове кодро!“

„Ка’зна шо, бгате!“ каже Череванъ, „хто жъ такы Хрыстыянына, наче собаку, проганя одъ порога!“

А Шрамъ не вытерпившы додавъ: „Такъ робылы тилько паны Ляхы да наши недоляшкы. Чи не обляшыла й тебе твоя княгыня“.

„Якъ отсе такъ?“ крыкне Гвынтовка.

„Такъ, шо твои речи и звычайи годылысь бы й звирю Ереми“.*)

Почервонивъ якъ миденъ Гвынтовка.

„Батько!“ каже, „одъ одного тебе я стерплю таки речи, не пролившы горячои крови! Я такый Ерема, якъ ты Барабашъ. Ерема!... да нехай сатана визьме мою душу, колы не радъ я по всякъ часъ выняты за Вкрайину шаблю одынъ протывъ десятохъ!“

Да й вынявъ съ пихвы шаблю и блыснувъ нею на сонци; а сонце вже сидало, и тилько на сволоци скризъ викна червонило.

„Ну, ну, угамуйсь“, каже Шрамъ; „хиба жъ я тебе не знаю? Мало чого скажетця пидъ горячу мынуту? Не все, кажуть, переймай, шо по води плыве“.

А самъ соби подумавъ; „И Ереми дорога була Украйина; и винъ махавъ за неи шаблюю: якъ не махаты, боронячы свойи маетности?“

*) Князю Еремыи Вышневецкому.

„И справди“, каже Гвынтовка, „прыпало жъ мини теперъ змагатысь, якъ треба гостей шановаты. А гей, княгыне! давай лышъ козакамъ вечеряты! ..Помылывсь ты, пан'отче“, каже зновъ до Шрама, „дуже помылывсь, сказавшы, що жинка мене обляшыла. Тривай лышъ, чи не я иі оковачывъ. Дывись, не гайдуку, не маршалку застылають у мене стиль. Доказалы мы Ляхамъ козацькой славы: княгыни йихъ теперъ служатъ козакамъ за столомъ и не за столомъ! А ты кажешъ, що жинка мене обляшыла. Княгыне, мое золото! чи ты спышъ, чи не чуешъ? вечеряты козакамъ пора!“

Такъ выгукувавъ осауль полковый Гвынтовка: хотивъ прытьмомъ довесты передъ Шрамомъ, що въ його жинка все одно, що служебка, хотьбы вона була сто разъ княгыня. И, такъ якъ мертве не хотя устает на чаривныцькый поклыкъ зъ домовыны, такъ тая княгыня, мовъ не своими ногами, увійшла до свитлицы на гризный поклыкъ свого чоловика. И, такъ якъ молода рабыня у старого, сывобородого Турчына служить и тремтыть, и нызько поклоняетця, такъ и та нещаслива княгыня, догожаючи своему чоловикови, нызько вклонылась гостямъ и почала застылаты стиль билою скатертью. А руки жъ то били, нижныйи, засукани по-хазяйськы по локоть, здаютця чыстийшымы одъ скатерты и нижнийшымы одъ мыткалевыхъ рукавивъ, — сыяють скризь вечирню тинь, якъ свижий снигъ ранкомъ на двори. Чи на те жъ то воны выкохани, выпестовани, щобъ, покынувшы высоки князькыйи замкы, застылаты стиль козакови?

„Не честь, не слава хйба козакамъ“, каже господарь, глядя на неи, „що въ йихъ такыйи слугы? Се-

стро, небого, прошу жъ до гурту. Сидайте да й не клопочитесь у мене въ господи ни про шо, якъ паны надъ панамы. Вамъ услуговуватыме горда Польска пани, високоименытая княгыня!“

А Череваныха каже: „Рыдванъ нашъ такъ излякавъ твою господиню, що колыбъ ій — у добрый часъ мовыты — чого не сталося изъ переполоху. Може бъ, измытъ іи свяченою водою, да нехай бы надила сорочку пазухою назадъ?“

„Э, сестро!“ одвигуе Гвынтовка; „мій голосъ пидниме іи зъ домовыны. Не вважай, що вона така смутна сьогодни: скажу тилько слово, такъ заразы розвеселытця, да ще й черезъ шаблю поскаче. Наши козачкы танцовали жъ колысь пидъ Лядську дудку“.

Хто бъ то змигъ розказаты, що на ту пору діялось на серци въ бидной княгыни! Мабуть, привыкла вже небога до такого глуму; уже й не плаче й не здыхае. Слухае тее гордованне одъ свого чоловика, такъ мовъ не про неи й ричъ; тилько часомъ здригнетця одъ його гризного голосу, якъ струна на бандури.

„Боржій, боржій, жинко!“ покрыкуе на неи Гвынтовка, „докажы, що твоя висока порода на якесь такы лыхо тоби здалася. Давай намъ якои-небудь настойкы, чи запеканкы, тилько такой, щобъ и старе помолодшало“.

Прынесла княгыня й запеканкы, почала гостей шануваты. Мусила перше выпыты чарку сама, и тогда вже стала гостей обносыты.

„Пыйте теперъ безпечне, дорогойи гости“, каже господарь: „Ляшка васъ не отруить“.

„А одъ йихъ роду—не во гнивъ твой жинци—се иноди й станетця“, каже Шрамъ. „Може бъ, и бать-

ко Хмельныцкый поживъ ище на свити, якъ-бы не сватавсь изъ Ляхамы“.

„Бачъ, мое золото, яки твои землякы!“ каже Гвынтовка. „Хвалы Бога мылосердного, що я тебе слобонувъ одъ йихъ. Хоть, може, мои лыпови свитлицы й не те, що княженецкыйи замкы, такъ хоть поживешъ мижъ православными Хрыстыянамы; усе такы не такъ смердитымешъ Лядськымъ духомъ, якъ позовуть на судъ передъ Бога!“

„Да чи по нашому жъ вона мольтця?“ шепнула Череваныха братови.

„Оттакъ, сестро!“ одвигуе той голосно, „не вже жъ ты думаешъ, що я мавъ бы кателычку за жинку? Уже не знаю, що тамъ у ии въ души сыдыть, а вона въ мене и до церкви ходыть, и хрыстыця по нашому. Перехрыстысь, мое золото!“

Княгыня перехрыстылась, якъ дытына, и що-то! бачця, ничего не заважають слова, а Леся, да й сама Череваныха, насылу змогли дывытысь безъ слизь на ту нещасливу невестку. Такъ якъ бидный горобчыкъ попадетця у руки хлопъятамъ та й не знае, за що надъ нымъ знуцаютця, а тыйи йому выспивують, якъ Жыды Хрыста мучылы *), крутятъ да пидкыдають у гору: такъ ся безталанна княгыня попалась теперь

*) Дитвора наша одъ старыхъ бабъ переняла, що нибы горобци, литаючи кругомъ роспятого Хрыста, цвиринькалы: *Жыю! жыю!* а Жыды, чуючы, що Винъ ище не вмеръ, знову Его мучылы. За се дитвора й доси немылосердна на горобцивъ, и, якъ попаде въ руки, то всякъ мучыть, выколуюе очи и вывертае ноги, прыговорюючи: „А що *жыю?* *жыю?* Оце тоби *жыю!*“

мижъ козаки; и що тамъ тыйи князи, сенаторы да вельки паны наробылы, про що вона й не видала, за все теперь одвичае.

Тилько ото що посидалы за стилъ, и Шрамъ по-благословывъ страву, якъ ось, хтось одсунувъ зънадвору кватырку и гукнувъ на всю свитлицю: *Пугу!*

Шрамъ зъ серця ажъ ложку покынувъ, а господарь замишавсь-замишавсь, да й самъ не знае, що йому робыты. Якъ ось изновъ: „Пугу! Чи ты спышь, пане князю, чи вже такъ завелычавсь, що не хочешъ пустыть доброго чоловика и въ хату?“

„Просымо, просымо, пане добродію!“ каже Гвынтовка. „И сины й хата передъ тобою настижъ“.

„А собаки жъ у васъ не кусаютця?“

„Отъ славно! а на що жъ спивають:

Запорозькый козакъ
Не боитця собакъ...?

„А кишкы въ васъ не дряпаютця?“

„Богъ съ тобою, добродію!“

„Теперь чор'зна якъ стало на Вкрайини!“ каже, усе такы за викномъ, голосъ: „нашъ братъ не у всяки двери й сунься“.

„Колы не у всяки“, каже Гвынтовка, „такъ у мои и о пивночи можна“.

„Пане Матвію!“ озався тогди Шрамъ, „такъ отсе ты такъ не братаеся зъ Запорозцями?“

„Э, добродію мій!“ каже, зачервонившысь зъ со-рома, Гвынтовка. „Запорожець Запорозцеви не пара.

Се батько Пугачъ, старецъ, або дидъ кошовый. Исъ кымъ, исъ кымъ, а зъ йимъ ладыты треба. Теперь на Вкрайини усе такъ перевернулось, переплуталось и перемешалось, що навпростецъ никуды не пройдешъ. Утремо мы Запорозцямъ носа, якъ колысь визьме наша, а теперь, покы що, треба гладыть за шерстю. Вони бо въ Царя вельке шанованна мають и чого хочуть, усе одержують“.

„Не йиздыть же намъ, пане брате, исъ тобою однимъ шляхомъ“, каже понуро Шрамъ.

Якъ ось увійшовъ до свитлыци батько Пугачъ, старый, довгоусый дидуганъ, изъ своимъ чурю. У простыхъ симрягахъ, а сорочки чорни, якъ сопуха. Да господареви, мабуть, на сѣй часъ було байдуже, що неодягни гости: забувши й свое панство, зустривъ батька Пугача съ такимъ привитаннемъ, мовъ той у найдорожшыхъ кармазынахъ.

„Прошу жъ“, каже, „за стилъ до громады“.

„Не сяду!“ каже Пугачъ, стоя середъ свитлыци.

„Чому жъ не сядешъ?“

„Тому, що въ тебе добрымъ людямъ така честь, якъ собакамъ“.

„Про якыхъ се ты добрыхъ людей говорышь?“

„Та хочъ бы й про тыхъ, що за визъ хворосту платять по дви пары воливъ. Та ось вони й сами йдуть до твого вельможного панства. Безъ мене ты йимъ не давъ и прыступу“.

Увійшли мищане въ свитлицю да й стоять у порога.

„Ну, скажы“, каже батько Пугачъ, „за що ты въ йихъ волы забравъ?“

„Щобъ не рубалы гаю, отъ за що!“

„Та воны жъ, колы хочешъ знаты, не въ твою гаю рубалы, а въ городовому!“

„У городовому, батьку! у городовому, пане!“ загулы мищане, кланяючысь то Пугачови, то Гвынтовци.

„Отъ славно!“ каже Гвынтовка, „зъ якого жъ се часу моя займанщина стала городовымъ гаемъ?“

„Та це, пане“, одвитують, „по твоему вона твоя, а по нашимъ магыстратськымъ записямъ вона наша Бигъ зна зъ якого ще часу. Ще скоро батько Хмельницькый выгнавъ Ляхивъ та недоляшкивъ зъ Украйны, та заразъ и давъ намъ привелей осягты пидъ городъ поля, гаи и синожати, яки сами улюбимо. Ще й доси е знакы, що позначылы наши бурмыстрове“.

„Та се-то мы знаемо“, каже Гвынтовка, „що вы того тилько й паслы, якъ бы вхопыть що найкращый шматокъ изъ козацькой здобычы! Козакамъ було тогди не до займанщинъ: козаки тогди былысь изъ Ляхамы по-надъ Случцю, по-надъ Горынню да топылысь по багнахъ, а вы зъ своимы пыкатымы бурмыстрамы давай выкроковать що найкращи поля та синожати! Се то мы знаемо! Такъ отъ же ни! козацькый бунчукъ переважить бурмыстерську патерыцю! Панъ полковникъ самъ дававъ мини бунчука, щобъ я його рукою займавъ соби займанщину, скилько за день конемъ обьйиду. Цилый день не встававъ я зъ своимы съ коня, и нехай ни хто не говорить, що се не мое добро!“

„Послухай, пане князю, ты мене, старого Пугача“, каже поважно Сичовый дидъ. „Старый Пугачъ ни для кого въ свити душею не покрывать. Нехай мищане

де-чымъ и пожывылысь одъ козакивъ у Польску заверуху, та вже жъ и козаки почалы теперъ нагынаты йимъ шыйи, справди по-шляхетськы. Засившы въ йихъ магыстраты, въ ратуши, старшына козацька орудуе йихъ вйтамы, бурмыстрамы и райцямы, якъ чортяка гришнымы душама. Коны тоби полковныкъ давъ займанщыну, то нехай воно такъ и буде; тилько жъ не обыжай добрыхъ людей, верны йимъ йихъ волы“.

Помовчавъ трохи Гвынтовка да, глянувши на Шрама, й каже: „Ни, нехай шукають йихъ у бурмыстривъ, що поробылы въ мойихъ гаяхъ прыкметы; а я докажу йимъ, що я въ своему добри панъ. Треба симъ безшабельнымъ Геваламъ збыть трохи пыхы“.

„Охъ, швыдко си Гевалы зроблять васъ Гамалыкамы!“ сказавъ тогди батько Пугачъ. Не помогутъ вамъ ни шабли, ни бунчуку! Дурни вы, дурни зъ своею пыхою, та й не кааетесь! Дитки мои!“ обернувся до мищанъ, „плюйте вы й на його гордыню й на його здырство! Мы вернемъ вамъ ваше добро десятерыцею“.

„О, спасыби жъ тоби, батьку, що хочъ ты за насъ уступывся!“ кажутъ мищане. „Просымо жъ до насъ на вечерю. Не погордуй уступыты до нашої простацькой господоы. Прощай, пане князю. Прыйде й на нашу юлыцю празныкъ“.

„Потрывай, пане добродію“, каже Гвынтовка; „я не хочу спречатысь исъ тобою черезъ лыкачивъ. Нехай беруть волы къ нечыстй матери, а ты оставайсь вечеряты“.

„Не до вечери теперъ нашому брату“, одвитовавъ Пугачъ. Будуть хутко наши сюды пидъ Нижень. Ось

йдуть уже царськи бояре; мы йихъ до Переяслава не пусто. Гарный городъ и Нижень для чорной рады. Дакъ не до вечери вже намъ теперь“.

И, не дожыдаючысь одповиди, насунувъ шапку да й потягъ исъ хаты. Мищане за нимъ.

А Гвынтовка оставсь теперь передъ Шрамомъ ни въ сихъ, ни въ тыхъ. Бачыть, що вже Шрамъ роскусывъ його. Отъ же ще такы хотивъ замазаты щилку то козацькымы воскылкамы—на се бувъ дуже здатенъ—то лестывымы прывитаннямы; да вже Шрама ничымъ не разважывъ. Насупывшы бровы сыдивъ старый за вечерею; а други гости, бачывшы, що винъ такый помурный, и соби сыдили мовчки.

Узяла Гвынтовку досада; напавсь на бидолашну княгыню. А княгыня, не сидаючы за стиль, усе ходыла слидомъ за дивчатамы, що подавалы до столу стравы. Жадна страва не прыйшлась йому до смаку: усе не такъ, усе йому на Лядський ладъ прыправлено. Давай кореныты Ляхивъ и вси йихъ звычайи.

А бидна княгыня, бачучы, якъ винъ розлютовавсь, ажъ тремтыть уся, що та былына одъ витру. Порядкуе, и сама не знае, що куды и до чого; дали якось зачепыла рукавомъ срибну коновку, повну вышнивкы, да й розлыла по всій скатерти.

А Гвынтовци, мабуть, абы найты прыключку. „Чортова кровь!“ крыкне такъ, що ажъ викна затремтылы, да й пхнувъ одъ стола княгыню. Бидна такъ и брязнулася объ-землю.

„Гей! чорты!“ крыкне Гвынтовка на свои слугы. „Визьмить ихъ бисовий матери сю Лядську погань!“

Выбиглы дивчата съ кимнаты, пиднялы да й повелы зъ свитлыци свою панію.

Черевань поглядувавъ на Шрама, що то винъ те-перъ скаже; а Шрамъ сыдыть понурый, буцимъ ничего й не бачыть. Не сказавъ ничего й Черевань, и вси мовчки скинчылы вечерю.

Шрамъ по вечери сказавъ тилько господареви, що завтра рано на зори пойдиде въ Батурынъ, а Петра оставляе, яко недугуючого, одпочываты у його въ хутори. Съ тымъ и поросходылысь на спочынокъ.



Глава одынадцята.



Зставшы въ-ранци, пійшовъ Петро у станю, а на стани вже пан'отцевого коня й не мае: ще до свиту махнувъ старый у нову дорогу; десь його й сонъ не взявъ.

Тяжко було на серци моему Петрови. Одна думка усюды його провожала: жалковавъ на свое нещасливе коханне. Ось бо спершу нудывъ свитомъ, що горда дивчына на його байдуже; дали скільки-то перегорило у його въ серци огню одъ того нескazanного жалю, що иншый передъ його очыма взявъ да й веде ии до винця; а теперъ ще нове горе: знае, що вона його любить щыро, да треба розизнатысь на вики. А Боже мій мый! якъ бы то й назваты тее щастя, щобъ жыты зъ нею въ пари, якъ голубъ изъ голубкою!

Такъ-то вже тому бидному козакови любоци очи затуманылы, що здавалось, тилько тамъ, де вона, и сонце сыяе, и Божый миръ красенъ; а безъ неи усюды тьма и пустыня.

Иншый, то, може бъ, не вважывъ, що пан'отець не благословить и що вже вона заручена другому, махнувъ бы, може, зъ нею въ дыки степы, на Хорольськи хutory, да й насміявсь бы надъ лыхою долею. А Петрови й думку таку було страшно допустыть у голову. Винъ добрый бувъ сынъ и щырый козакъ; луч-

че йому зъ нудыгы загынуты, нижъ пан'отця на викъ преогорчыгы и золоту свою славу грязю закаляты. У його инша була думка: умыслывъ соби, послѣ пан'отцевои смерти, йты на Запорожже да, поробывшы власнымъ коштомъ човны, зъ охочымы козакамы Турецьки города плиндроваты и жызнъ свою по-рыцарьскы, на поли, чи на мори, за Хрыстыянську виру положыты. А помы що, уложывъ соби одъ Леси яко мога одбигаты, и на самоти перемогать тыйи нещасни любощи. Тымъ то й теперъ, походывшы, посумовавши по стани, не схотивъ вертатысь у будынокъ, щобъ не зустрытысь изъ своею несуженою дружиною, а пійшовъ, своимъ звычаемъ, блукаты по пуци, чи не розжене свого смутку.

Взявши на ливу руку одъ дороги, пійшовъ узенькою стежечкою, и якъ ни звертавъ свои думкы, то на пан'отця, де-то винъ обертаецця, то на тревогу по Вкрайини, а серце знай свое шепче. Вже часъ немалый иде винъ пуцею, колы жъ выходыть на лощыну; гляне—кинець лощыны, изъ-за дерева дымокъ. Сонце вже пиднялось геть-то, такъ дымъ у-нызу помижъ деревомъ сынй, а въ-гори наче золотый серпанокъ. Дывытця Петро, ажъ и огорожа, и хатка мріе оддалекы. Вже винъ хотивъ звернуты на бикъ, щобъ не тревожыты дурно чужыхъ собакъ; колыжъ гляне — иде супротывъ його одъ хаты середнього вику чоловикъ, у козацькій жупаныни, а його пидъ руку веде молода, чорнява дивка. А чоловикови тому, мабуть, и нетреба, чужои пидмогы; однимае одъ неи руку да й каже: „Та ну, Настусю, къ нечыстй матери! що ты мене ведешъ, мовъ пъяныцю зъ шынку? Я сьогодни хочу пограты

конемъ по полю, а ты мене водышь, наче дытыну. Геть, кажу, оступысь!“

Якъ же здывовавсь Петро, пизнавшы Кырыла Туря! (бо се винъ самый и бувъ). И, дывне дило! такъ йому зрадивъ, наче ридному братови; а що недавно былысь на смерть, про те йому й байдуже.

И Кырыло Туръ зрадовавсь; привитавсь такъ, якъ изъ давнимъ прятелемъ.

„Поздоровляю“, каже, „по ликахъ! Ну, не думавъ я, щобъ писля такой руки ще ты дывывсь на Божый мырь. Та й самъ— я мовыты правду — не хотивъ бы бильшь пидійматысь на ноги. Богъ знае, чи трапытця въ-друге такъ гарно вкластысь спаты“.

„Незнать що вы говорите, братику!“ каже йому дивчына, дывлячысь любязненько йому въ вичи, и ще такы держучы його за руку.

„Мовчы, бабо!“ сказавъ Кырыло Туръ. „Вашъ братъ у сьому не тямить сылы. Вамъ жызнъ издаетця ка'знае чымъ. Хата, пичъ, подушкы—отго вамъ и все щасте. А козакови поле не поле, море не море, щобъ изнайти долю. Козацька доля въ Бога на колинахъ. Туды и рветця наша душа, колы хочешъ знаты... та чи съ тобою жъ про си речи весты розмову? Я вже, братику“, обернувсь Кырыло Туръ изновъ до Петра, „покыдавъ зовсимъ сей свить, набытый бабама та всякымы хымерамы; уже бувъ и ногу поставывъ на поригъ, щобъ ийти у далеку дорогу; такъ що жъ? учепылысь за мене добри люде и такы вернули назадъ. Думають, куды яке добре дило зробылы, що не далы змерты! Йимъ здаетця, що й нема вже въ Бога ничего кращого надъ оцю мызерну жызнъ; а отъ, у кого

товку е хочъ за шелягъ, то всякому скаже, що вона не стоить ни якогисинького жалю!“

„Скажы жъ мини“, перебивъ його мизковання Петро, „якъ отсе ты опынывсь на симъ боци?“

„А такъ“, каже, „що взяли добри люде та й давай няньчыты, сповываты, купаты, наповать усякымы зиллямы, а дали й сюды зъ собою завезлы. Дуже тутъ мене треба! И куды жъ утрапылы? якъ разъ у хату до моеи матери! Тутъ уже бабы якъ попали мене въ свои лапы, то отъ, якъ бачъ, ни якимъ побытомъ не одкараскаюсь. Прытьмомъ кажуть, що я нездужаю; а я такъ нездужаю, що ведмедя бъ за ухо вдержавъ. Колыбъ не Божый Чоловикъ, то довелось бы зъ нудьгы пропасть мижъ плаксывымъ бабствомъ. Той, спасыби йому, розважить такы инколы душу козацькою писнею, та й на Божый мыръ дывытця по-людськы“.

„А побратымъ же твій де?“ спытавъ Петро.

„Побратымови“, каже, „мойому теперь доволи дила. Хочемо задать перцю Городовій старшыни, такъ шатаетця теперь по всихъ усюдахъ, наче ткацькый човныкъ по основи. Напъялы братчыкы вамъ добру основу; вытчуть вамъ таку сорочку, що ни рукамы, ни ногамы не повернете“.

„Слухай, брате“, каже Петро, „колы казаты, то кажы ясно, а не загадкамы“.

„Кажы йому ясно!“ засмйавшысь мовывъ Запорожець. „Якый теперь чортъ скаже тоби що-небудь ясно, колы звидусюды нахмарыло? Выяснытця вамъ хйба тоди, якъ заторохтыть гримъ та заблыскае блыскавыця. А вже до сього не далеко. Казавъ побратымъ, що вже надъ Остромъ, у Романовського Кути, наши и

кошъ заложылы. Сьогодни трывай, чи й самъ Иванъ Мартыновичъ не прыбуде зъ отаманнемъ; а къ завтрьому икъ ранку, щобъ и бояре царськыйи не надъйихалы. Чорный людъ збираетця пидъ Нижень, якъ сарана. Кажуть, у Нижени пидъ раду великый урожай на кармазыны...“

У Петра одъ такихъ ричей ажъ морозъ пйшовъ по-за шкурою. Першъ усього подумавъ винъ про свого пан'отця, и вже хотивъ бувъ бигты до хутора, щобъ його сповистыты, да згадавъ, що пан'отець у дорози. Друга його думка була про Лесю: боявсь, щобъ якъ-небудь и ий у козацькыхъ чварахъ не досталось; а ще бильшь боявсь, щобъ Кырыло Туръ, пидъ сей каламутный часъ, у-друге не вкравъ ии, такъ якъ у Кыиви. Що жъ тутъ чыныты?... „Заведу про неи ричъ изъ Запорозцемъ!“ да й натякнувъ про Лесю.

„Ге-ге-ге!“ каже зареготовавшы Запорожець. „Не вже ты ще й доси не выкынувъ зъ головы тыйи дурныци? Мини здавалось, досыть пустыть чоловикови съ пивъ-видра крови, щобъ одумавсь; ажъ, мабуть, ни! мабуть, васъ нянькы вже зъ-малечку загодовують такою кашою, щобъ и зъ сывымъ волосомъ не переставъ чоловикъ лыпнуть до бабъ!“

„А ты, вразкый прудыусе“, каже смючысь Петро, „не вже бъ то занедбавъ дивчыну, що бывсь за неи мовъ скаженный?“

„Пъху!“ ажъ плюнувъ зъ сердца Запорожець, „ставъ бы я теперь думаты про такую пакость! Одынъ тому часъ, шо чоловикъ искрутытця. Теперь давай мини хочъ копу такихъ дивчатъ, то ий-Богу — отъ велике слово *ий-Богу* — усихъ оддамъ за люльку тютюну!“

Полегшало въ козака на души. „Ну, куды жь“, каже, „отсе ты идешгь!“

„Та отъ бачъ, Божый Чоловикъ звеливъ мини прохожуватысь по пуци, а бабы мои.... се сестра моя, колы хочъ знаты, а тамъ у хати ще й маты е.... такъ бабы мои не ймутъ виры, що я одужавъ. Та вже я йимъ сьогодни докажу, що пора йимъ одъ мене одчепытысь: осидлаю коня та пройду по полю такъ, щобъ ажъ ворогамъ було тяжко, якъ мовлявъ Черевань. А що бакъ Черевань?“

„Туть изъ намы у Гвынтовкы“, каже Петро.

„Дакъ мы съ тобою сусиде“, сказавъ Запорожець.
„Ну, братику, будемо жь теперь жыты мырно, колы тилько прожыве теперь мырно хочъ одна душа на Вкрайини. А покы що, ходимо лышь у хату та по-снидаймо“.

Петро на те изозволивсь. А въ хати вже поралась коло печи стара маты: пекла млынци на сніданне.

„Отъ и моя ненька старенька“, сказавъ Кырыло Туръ, да й каже матери: „Колы хочъ, нене, знаты, що се за козакъ, такъ се той самый, що разомъ насъ изъ нымъ нашпыговано пидъ Кывомъ.“

А Петрови шепче на ухо: „Я не скажу йимъ, що не який врагъ и нашпыговавъ мене, якъ не ты; ато дывытымутця на тебе бисомъ. Си бабы ниякъ не збагнуть, що сьогодни можна съ чоловикомъ рубатысь на вси заставки, а завтра гуляты въ-купи по-братерськы. Не знать якъ дывлятця на Божый свить. Сказано — бабы“.

Стара няня була радесенька, що въ сына трапывсь знакомый гисть, и заразь почала його трактоваты. Мыт-

тю подала на стилъ гарячихъ млынчыкивъ, сала кусокъ положила на кружечку, и мысочку сметаны поставыла; ще й пляшку перчакивки достала съ полицы.

„Отъ якъ мене втишывъ на старистъ Господь мылосерднѣй!“ каже до гостя. „Не думала я вже бачыть до-вику свого сынка, свого ясного сокола“.

И обняла Турову голову, и поциловала його въ чупрыну.

„Годи, годи, мамо!“ каже Запорожець. „Ты бъ, здаеця, тилько й робыла, що няньчылась изо мною. Я вже й такъ боюсь, щобъ черезъ тебе товариство мене не одцуралось. Скажуть: „Иды соби геть; намъ такихъ мамивъ не треба!“

„А ты ще такы не переставъ думаты про ту прокляту Сичъ?“ сказала маты.

„Паниматко!“ крыкне на неи Запорожець, „не давай воли языку, колы хочъ, щобъ я прожывъ у тебе въ хати ще хочъ пивъ-дня! Якъ можна узываты проклятымъ славне Запорожже!“

„Щобъ воно тоби запалось!“ каже скризь слёзы маты: „узяло воно въ мене, наче сыра земля, чоловіка — не знала я щастя за-молоду; а теперь визьме ще й сына — не дознаю я щастя й пры старости литъ!“

„Ну, що ты вдієшь изъ симы бабамы!“ каже за-сміявшысь Кырыло Туръ. „У йихъ щастемъ зовеця чор’зна що! Ну, давай лышь намъ, вене, по чарци, то, може, повеселійшаемо. Теперь Сичъ буде недалечко: у Романовського Кути. Правда, й туды вашому брату все одно дзусь! такъ я самъ иноди до васъ на-видаюсь, та часомъ ще й гостынця привезу“.

„Не треба мини кращого гостынця, якъ ты самъ, сыну мій коханий!“ каже маты.

„Чому не Маруся!“ одвитуе Кырыло Туръ. „Такъ не для бабъ же создавъ Господь козака. Е въ його що-небудь краще робыты, нижъ сидиты отгуть та втыраты млынчыкы. А млынцы важни! ничого сказать, важни млынцы!“

Тилько що се сказавъ, якъ ось пидъ викномъ затупотять кони, а хтось у викно по-Запоровьки: *Пугу! пугу!*

Жинкы обыдвѣ такъ и затремѣли. Уже йимъ не въ первынку було се Нызове пуганне, тилько жъ николы не було йимъ такъ страшно.

„Охъ, моя матинко!“ крыкне Кырылова сестра, „чого жъ се мене такый страхъ ошыбъ? Хто се такый, мій братику?“

А Запорожець ій понуро: „Се вже, сестро, прийихалы по мою душу“.

„Охъ лышечко!“ заквылыла маты. „Що жъ оце ты сказавъ, мій сыночку!“

„А ось“, каже, „добри молодци сами тоби роскажуть, колы ще не догадалась“.

Якъ ось двери одчынылысь, и лизе въ хату, тяжко переступаючы черезъ поригъ, батько Пугачъ, а за нимъ його чура.

„А здоровъ, вражий сыну!“ такъ привитавъ кошовый дидъ Кырыла Тура. „Якъ ся соби маешъ? Добрыхъ пославъ тоби Господь гостей, та чымъ-то йихъ уконтентуешъ! Прощайсь лышень, дьяволивъ сыну, зъ матерью та зъ сестрою, бо вже недовго рясть топтатимешъ!“



„Прощайсь лишень, зь матирью та зь сестрою, бо вже не довго рястъ топтатымешг!“ (Ст. 146).

„Батечкы мой, голубчыкы!“ крикне злякавшысь Кырылова маты, „що жъ оце вы зъ йимъ хотите робыты? Не зоставляйте мене сыротою на старости, не однимайте въ мене мого свиту, мого сонця!“

А батько Пугачъ на ней й не дывытця, да зновъ до Кырыла Тура: „А що, (вражый сыну) зопъявсь уже на ноги? одпасъ уже товсту мармызу? пойдьмо лышь до коша на росправу. Ты думаешъ, мы дурно насыпали Божому Чоловикови шапку таляривъ? (Пакоснык ты паскудный!) (плюгавецъ) загладышь ты въ насъ сьогдни увесь соромъ, що наробывъ товариству! Убырайсь лышь, гаспедський сыну! сидлай коня! Тебе бъ треба, взявшы за шыю, весты до обозу на верьовци, якъ собаку, та вже я честь на соби кладу: пограй уже, такъ тому й буты, въ остатній разъ на кони!“

Ни жыви, ни мертви, слухалы таки речи маты й сестра Кырылова; дали, наче йимъ хто нижъ устроивъ у сердце, повалылысь на землю да й прыпалы до нигъ батькови Пугачови, да плачуть же то гирко да молять, щобъ не однимавъ у йихъ остатньоїи радости.

„Гетьте къ нечыстий матери!“ крикне жорстокий Запорожець. „Якого биса лазыте передо мною? Не я надъ йимъ суддя: усе товариство зъ йимъ правуватыметця!“

Тогди Кырыло Туръ пиднявсь изъ-за столу да й каже веселымъ голосомъ: „Ка'знае що робышь ты, батьку! Кто жъ такы лякае такъ жинокъ? Аже жъ и въ тебе, трывай, була маты: не вовчыця тебе на свить породыла! Сидайте лышь та пидкрипляйтесь, чымъ Богъ пославъ, а я ось осидлаю коня, одягнусь та й пойдьмо. Мамо, сестро! годи вамъ незнать чого убыватысь!

Хиба вы не знаете жартивъ Запорожькихъ! Нашъ брать и жартуе такъ по-ведмежы, що иншого й до слизъ доведе“.

Не знали сердечни, чи няты, чи не няты виры Кырылу Турови, однакъ стали трощкы спокойнійши. Дывлятця мовчки на гризного свого гостя, на батька Пугача, чи не скаже винъ хоть словечка мякшого, чи не всмихнетця до йихъ. Ни, били його бровы страшно насупылысь. Попустывшы внызъ сывий, довгый усь, поглядовавъ винъ на Кырыла Тура, якъ хыжий орелъ на ягныцю.

А Кырыло Туръ буцимъ на те й не вважае. „Чогожь“, каже, „вы поторопили? Батько пошутковавъ, а въ йихъ уже й души не стало. Давайте лышъ млынцивъ гарячыхъ, а я ось пошаную гостей перчакивкой. Я вамъ казавъ, що пограю сьогороди конемъ по полю. Ну, прийихалы за мною козаки, та й годи. А вони вже й распустылы губы. Эхъ, бабська натура. А ще просять — зостанься зъ ними жыты. Що за жыття козакови съ такими плаксами!“

Батько Пугачъ сивъ за стилъ, поблагословивсь, да й почавъ уплитать млынцы. Кывнувъ на чуру, и чура сивъ коло його, да й прынявсь за снідання.

А Кырыло Туръ выйшовъ изъ хаты и почавъ зваты свыстомъ свого коня зъ гаю. Кинь пасся на воли округъ хаты. Розумна була животына: заразъ прыбигла, зачувшы хазяйський посвысть.

Почавъ Кырыло Туръ збираты зброю, да, щобъ заспокойиты паниматку, що мовъ бы то въ його на думци нема ничего смутного, идучы мимо виконъ завивъ козацьку писню, повнымъ да розлогымъ голосомъ:

Ой, коню мій, коню! заграй пидо мною
Та розбий тугу мою;
Розбий, розбий тугу по темному лугу
Козакови та молодому....

Тилько не втрапывъ неборакъ vybrаты добре писню: вона ще бильшъ завдала тугы старій козацькій неньци. Покинувшы дочки свое порання коло печи, сила сердечна маты кинець стола, да такъ же то гирко почала плакаты, що й старе Запорозьке серце трохы помякшало.

„Не плачь, нене: дурно слёзы тратышь“, сказавъ батько Пугачъ.

А Кырыло, идучы зновъ мимо викна, спивае свою писню, да такимъ же то смутнымъ оддавсь на сей часъ у хати його голосъ!

Ой, згадай мене, моя стара нене,
Якъ сядешъ у-вечери йисты:
Десь моя дытына на чужій сторони,
Та нема одъ нейи висты!

Сковорода перевернулася и покотылася на доливку въ Кырыловой сестры. Кынулася бидна голубонька до матери, обняла да й заголосыла: „Матусю, мое серденько! а що жъ мы тоди въ свити робытынемъ, якъ не буде въ насъ Кырыла?“

А та безталанна за слизмы й свиту Божого не бачыть и слова не промовыть.

Ажъ ось иде въ хату Кырыло Туръ, удаючи зъ себе такого веселого молодця, що ты бъ сказавъ—винъ на весилля прыбравсь. Глянувшы на сей плачь да обнимання, ставъ середъ хаты, здвигнувъ плечыма, руки

розставывъ, да й каже: „Ну, що ты зъ симы бабамы чынытымешъ? и пораня покынулы! Уже правда, що тилько нагадай кози смерть! Що жъ? хйба мини самому пекты млынцы для пана отамана? Годи, кажу, вамъ руматы; не де въ биса динусъ, вернусь ище сто разъ до васъ, никчемне вы бабство!“

„Ну лышь пидперизуйсь“, каже батько Пугачъ, „я довго ждаты не буду. А ты що за чоловікъ?“ обернувся до Петра.

Той мовчки дывывсь на все, що передъ нымъ діялось. Сказавъ йому свое имя й призывще.

„А!“ каже, „сынъ того нависноголового попа, що мишаецця не въ свое дило. Осъ мы вамъ хутко втремо носа: Иванъ Мартыновичъ уже идъ Ниженемъ; навчыть винъ васъ пановаты та гетьмановаты!“

Знайшовъ бы Петро, якъ одвитоваты мужыковатому Сичовому дидови, якъ-бы колы перше; а теперь довга хвороба охолодыла йому кровъ, що мусывъ винъ лучче замовчаты, нижъ измагатысь безъ пуття изъ завзятымъ дидуганомъ.

Скоро одягсь Кырыло Туръ, заразъ батько Пугачъ изъ своимъ чурою вставъ, помолывсь до образивъ, подяковавъ за хлибъ за силь да й пійшовъ съ хаты.

А Кырыло Туръ уклонывсь матери, да й каже веселенько: „Прощай, матусю! прощай, сестро! Прощай и ты, брате!“ обернувся до Петра, да й пійшовъ боржій ись хаты.

Матери й сестри здалось, що бачять його уже въ остатне; кынулысь за нымъ, хотилы хотъ обняты його на прощання. А винъ скочывъ на коня, да й почавъ його крутыть да кыдаты на вси боки, що ни маты, ни

сестра не отважылысь ухопыть коня за поводы, або за стремена.

„Колы жъ тебе, брате, ждаты намъ у гости?“ спытала сестра.

А винъ їй:

„Тоди я прыбуду до васъ у гости,
Якъ выросте трава на помости“.

Да, стыснувшы коня острогамаы, и помчавсь одъныхъ наче той выхоръ. За нымъ повіявсь и батько Пугачъ изъ своимъ чурою. А бидолашни вернулись у хату да ї заголосылы, наче по мертвому.

„Не вбывайсь, паниматко“, каже тогди Петро: „може ще все гараздъ буде. Романовського Кутъ недалекo: Кырыло, може, хутко ї вернетця“.

„Якъ выросте трава на помости“, шепче сама соби сестра Кырылова.

„Голубчыку мій!“ сказала Петрови стара Турыха, „зробы ты мини, нещасливій матери, таку ласку, пиды до Романовського Кута, до тыхъ проклятыхъ Запоровцивъ, та подывысь, що воны зъ нымъ робытымуть. Охъ, мабутъ, винъ провынывсь передъ товариствомъ? а въ їихъ нема ни крыхты жалосты. Пиды ты, мій голубе сызый, та сповисты насъ, що воны зъ нымъ чынытымуть! Хочъ звисточку намъ передай, чи ще винъ е на свити“.

„Добре“, каже Петро (жаль йому було сердечнои бабуси), „пїйду“, каже, „немовъ прынесу вамъ потишну звистку“.

„О, поможы тоби, Господы!“ кажуть разомъ обидви, да ї выпроводылы його зъ молитвамаы.



Глава дванадцята.



рочыще Романовського Куть и мала дытына показала бѣ у тій околицы, а найбільшѣ теперѣ, якъ усяке говорило про Ивана Мартыновича (а винѣ стоявѣ кошемѣ у Романовського Кути). Зробыла той куть якась ричка самотека, павшы у ричку Остерѣ, у лузи. Рослы тамѣ надѣ водою стари дубы зѣ береза-мы; вони й мисто скрашала, и холодокѣ Запорозькымѣ братчыкамѣ давали.

Ище оддалеки зачувѣ Петро глухый галась, мовѣ на ярмарку. Пидійшовѣ блыжче, ажѣ справи тутѣ неначе ярмарокѣ. Назбиралось люду нескысленна сыла, и все то була сильска чернь, мужыкы, що позиходы-лысь грабоваты Нижень, якѣ прыобищавѣ йимѣ Бруховецькый. Обидрани кругомѣ, у чорныхѣ сорочкахѣ: мабутѣ, сами бурлакы да гольтяпакы, що, не маючы жадного прытулку, служылы тилько по броваряхѣ, по выныцяхѣ да ще по лазняхѣ грубныкамы. У иншого сокыра за поясомѣ, у того коса на плечи, а другый прытягѣ изѣ колякою. Ажѣ сумно стало Петрови, якѣ розибравѣ, що то воно есть отся купа голоты.

Помижѣ людьмы сямѣ тамѣ стоять бочки съ пы-вамы, шыритвасы зѣ медамы да зѣ горилкою, возы зѣ мукою, сала, пшона и всякы прыпасы. Усе то наста-

чылы, усердствуочы Ивану Мартыновичу, Ниженськи мищане, за те, що, каже, не знатымете пидъ моею булавою жадного козака, або козацького старшыны надъ собою паномъ: уси будемо ривни. (Добре винъ поривнявъ Украйину!)

Нихто ни въ кого не пытавсь тутъ, що йисты або пыты: усякому була своя воля — роботы, що хочъ, якъ у себе въ господи. Повыкопували въ земли здоревенныйи печи, запалылы огни. Тутъ у вынныцькій кадци мисять тисто трое разомъ ногамы, а тамъ печуть цилого вола, а тамъ у здоревенныхъ казанахъ варять на таганахъ да на катрягахъ кашу. Дымъ, наче хмара, ходыть по-надъ головами. Инши тилько те й роблять, що пораютця коло бочокъ да потчуютъ усякого, хто стойить або йде мимо, а инши вже лежать повывертавшысь, якъ у холодъ мухы. Безумна якась радисть у всякого въ очахъ и въ ричахъ. Ускуды знай выкрыкують: „Иванъ Мартыновичъ, батько нашъ любый!“ Зниме въ-гору въ одній руци чарку чи кившъ, а въ другій шапку зъ головы, да й репетуе, що Йванъ Мартыновичъ и день и ничъ побываетця за людськымъ щастемъ.

А тутъ кобзари швендяють помижъ людьмы, играють на кобзахъ, на бандурахъ да спивають усякихъ писень. Пробираючысь промижъ купама, надывывсь Петро усячыны. Отсе тутъ буде юрба, що знай танцюють та сміютця. Побравшысь у боки, выбывають пидъ бандуру гопака веселыйи злыдни; а коло йихъ, повытягувавшы шыйи, стойать кругомъ да дывлятця, чудуючысь, наче на вертепъ, або що. А тамъ стойать, збывшысь у купу, понури головы. Потупывшы очи,

похылывшысь на кыйи або на косовыца, стари голь-
тяпакы слухають кобзаря. Играе винъ йимъ, сыдячы
посередъ, пидобгавшы ногы, якъ Ляхы Украйину
плиндровалы, або якъ батько Богданъ збиравъ козац-
тво помижъ людомъ да стававъ супротывъ дукъ и
шляхты. Инши, пидпившы вже добре, прегирко пла-
калы, слухаючы писню; тилько и мижъ веселымы, и
мижъ смутнымы купамы одна ходыла зъ серця до
серця думка: Бруховецького велычалы другимъ Хмель-
ницькымъ, що ище разъ стае за Вкрайину супротывъ
и ворогивъ и даруе мырови волю.

Мынаючы и тыхъ, що скачуть, и тыхъ, що пла-
чуть, Петро протовплявсь усе дальшъ, чи не взрыть
червоныхъ жупанивъ Запорозькыхъ. Що глыбше въ
кутъ, то все бувъ людъ одягнйшый; булы тутъ уже
й мищане въ лычакахъ и въ синихъ каптанахъ, було
й городове козацтво въ блакытныхъ да въ зеленыхъ
жупанахъ; а кармазынни шаровары, або жупанъ Запо-
розькый хотъ-бы одынъ. Дйшовъ винъ и до самого
коша, до вищового раднього миста. Тутъ скрызъ було
выривняно и посыпано пискомъ гарно. Не выдно було
ни дымныхъ печей, ни бочокъ, ни возивъ съ прыпа-
самы; тилько козацьки наметы кругомъ стоялы. И сю-
ды и туды, и вдовжъ и виоперекъ знай швендяють
люде. Гоминъ такый, якъ у тыхъ бжилъ у ульни.
Теперь тилько постеригъ Петро, що Запорозци тутъ
не одризнялысь одежою одъ прости сиромы. Знаты
йихъ було хиба по довгому оселедцю съ-пидъ шапки
да по шабляхъ и пистоляхъ: шабли й пистолы булы
въ деякыхъ дорогыйи.

Зупынывсь и розглядае добрыхъ молодцивъ, чи

не взрыть Кырыла Турь. Ажъ дывытця—иде зъ-боку чоловикъ, середнього росту й вику, а за йимъ и по бокахъ його цила юрба усякого люду—и Запорозци, и городове козацтво, и мищане, и прости мужыкы-греч-коси. „Иванъ Мартыновичъ! Иванъ Мартыновичъ!“ знай кругъ його гукають. Петро й постеригъ, хто се такый, и почавъ прыдывлятысь, що тамъ за Брухо-велькый. Що жъ? винъ думавъ, що сей пройдысвить изробывсь теперь такымъ паномъ, що й черезъ губу не плюне, думавъ, що весь у золоти да въ блаватаси; ажъ де тоби! Чоловичокъ сей бувъ у короткый старенькый свытыни, у полотняныхъ штаняхъ, чоботы шкапови попротоптувани, и пучкы выдно. Хиба по шабли можна бь догадатыця, що воно щось не просте: шабля ажъ горила одъ золота; да й та на йому була мовъ чужа. И постать, и врода въ його була зовсимъ не гетьманська. Такъ наче соби чоловичокъ простенькый, тихенькый. Нихто, дывлячысь на його, не подумавъ бы, що въ сий голови вертытця що-небудь, опричь думкы про смачный шматокъ хлиба да затышну хату. А якъ прыдывыся, то на выду въ його щось наче ще й прыязне: такъ бы, здаетця, сивъ изъ нымъ да погуторывъ де про що добре да мырне. Тилько очи булы якись чудни—такъ и бигають то сюды, то туды, и, здаетця, такъ усе й чыгають исъ-пидтышка чоловика. Иде, тропкы згорбывшысь, а голову схы-лывъ на бикъ такъ, наче каже: „Я ни одъ ксог ни-чого не бажаю, тилько мене не чипайте.“ А якъ у його чого поспытаютця, а винъ одвитуе, то й плечи, наче той Жыдъ, пидийме, и на бикъ одступыть, що ты бь сказавъ — винъ усякому дае дорогу; а самъ

знитытця такъ, мовъ той цуцккъ, ускочывшы въ хату.

Оттакый-то бувъ той Бруховецькый, такый-то бувъ той гадюка, що наварывъ намъ гиркою на довги рокы!

„Диткы мой!“ каже тоненькымъ, ныцымъ голоскомъ, „чымъ же мини прохарчыты васъ, чымъ васъ зодягты? Бачте, я й самъ увесь оббывсь якъ кремяхъ!“

„Батько ты нашъ, Иване Мартыновичу!“ озвались Запорозци, „абы твое здоровье, а мы мижъ добрымы людьмы не загынемо.“

„Йй-Богу, правда!“ крыкне, покрываючы всичъ, одынъ мищанынъ. (Хто жъ той мищанынъ? Кыивськый Тарасъ Сурмачъ. Найихало до Иванця выборныхъ зъ усихъ городивъ на чорну раду). „Йй-Богу“, каже, „правду добри молодци говорятъ! Та абы твое, пане гетьмане, здоровье, а мы тебе и хлибомъ, и одежою обмыслымо, — и тебе и твое товариство, не попускай тилько насъ ни кому у-въ обыду!“

„Охъ, Боже мій мылосердный!“ каже здыхнувши Бруховецькый, „на що жъ и живе нашъ братъ Запорожець на свити, колы не на те, щобъ стояты за православныхъ Хрыстыянъ, якъ за ридныхъ бративъ своихъ? Чи намъ золото, чи намъ срибло, чи намъ панськи будынкы треба? Не про те мы, братци, гадаемо. Абы добрымъ людямъ було добре жыты на Вкрайини, а мы проживемо и въ злыдняхъ, проживемо и въ землянци, на одному хлиби та води. Сказано: „Хлибъ та вода—то козацька йида.“

„Йй-Богу, такъ воно й е!“ крычатъ мищане й мужыкы. „Запорожець рады насъ усяку нужду въ Сичи прыймае, билои сорочки зъ-роду не бачыть: якъ

же намъ не лубыты, братци, добрыхъ молодцевъ? якъ намъ не волаты Ивана Мартыновича соби гетьманомъ?“

А Бруховецький каже: „Дитки мои! Господь зъ вами и зъ вашимъ гетьманствомъ! У насъ у Сичи, чи гетьманъ, чи отаманъ, чи такъ соби чоловікъ— усе ривный товаришъ, усе Хрыстыянська душа. То тилькы вапа городова старшына завела такъ, що колы не панъ, то й не чоловікъ. Не про гетьманство нашъ братъ Запорожець думае: думае винъ про те, якъ бы та якъ допомогты вамъ у вашій тяжкій доли! Серце мое болыть, дывлячысь на ваше убожество. За батька Хмельныцького теклы по Вкрайини медовыйи ричкы, людъ убиравсь пышно та красно, якъ макъ у горди; а теперь досталысь вы такимъ старшынамъ та гетьманамъ, що скоро й шкуру зъ Васъ издеруть. Надъ вами, мои дитки, воистыну справдылысь святыи слова: „Хиба не багатыи васъ утыскають? Хиба не воны тягнуть васъ на суды? Хиба не воны зневажають ваше добре имя, узываючы васъ хамамы та рабамы неключымымы?“

„Ій-Богу, такъ! ій-Богу, такъ!“ репетуе кругомъ сирома, „проклятыи кармазыны швыдко выдеруть у насъ душу зъ тила, не то що! Колыбъ не ты, батьку гетьмане, заступивсь за насъ пры лыхій годины, дакъ хтобъ насъ и пожалувавъ!“

А Бруховецький зновъ до Запорозцевъ: „Вы знаете, мое товариство мыле, мои ридныи братчыкы, у якихъ саетахъ, изъ якымы достаткамы прыйшовъ я до васъ у Сичъ. И де жъ те все подивалось? Чи я пропывъ, чи прогайнувавъ? Ни, не пропывъ я,

не прогайнувавъ, не промантачывъ, не процындрывъ безъ пуття: усе спустывъ зъ рукъ, абы бѣ тилькы якъ-небудь прыкрыты ваши злыдни. Не мало пишло мого добра и по Гетьманщыни. Якъ та бидна курка-клопотуха що знайде зернятко, да й те оддасть своимъ курчаткамъ, такъ и я усе до останього жупана пороздававъ своимъ диткамъ. А теперь отъ и самъ обголивъ такъ, що й пучкы лизуть изъ чобить, — доведця незабаромъ ходыть такъ якъ лапко. Що жъ? походимо й безъ чобить, абы моимъ диткамъ було добре“.

„Батько ты нашъ ридный!“ крычатъ кругомъ ледви не скривъ слезы, „дакъ лучче жъ мы збудемъ усе до останього рямя, та справымо тоби таки сапьянци, що и въ Царя немае кращыхъ!“

„Господъ зъ вамы, мои диткы, Господъ зъ вамы!“ каже, здвыгаючы плечыма и одступаючы на бикъ, ныцый Иванецъ. „Вы, може, думаете, що я, такъ якъ ваши нашыйныкы, стану драты зъ васъ шкуру, абы бѣ тилькы въ мене на ногахъ рыпалы сапьянци? Не доведы мене до сього, Господы! Везлы колысь за мною въ Сичъ жупаны й сапьянци возамы, везлы золото и срибло мишкамы, а я все збувъ изъ рукъ, абы мойимъ диткамъ було добре!“

„Отъ гетьманъ! отъ батько! отъ колы мы диждались одъ Господа ласкы!“ гукають кругомъ Иванця мищане, козаки й мужыкы.

А винъ, мовъ бы ничого й не чуетъ — иде соби смирененько, згорбывшысь.

Юрба провалыла тымъ часомъ мимо Петра. Хотьбы й радъ винъ бувъ послухаты, на яки ще хытрощи

пидниматыметця ся ныця душа, такъ за народомъ ничего было не видно й не чутно.

Тилько теперь пораховавъ Петро, чого стойть Бруховецькый; теперь тилько постеригъ, яку яму копае винъ городовій старшыни! Окаянный пройдысвить такъ усихъ омамывъ, такъ по души були темному людови тыйи лукавыйи ухваткы, тыйи тыхи, солодки речи, те нибы-то убожество, що всякъ за його полизъ бы хотъ на нижъ. Ажъ дивно стало мойму козакови, що-то чоловикъ зможе, якъ захоче! Хымерный той Иванецъ морочывъ головы людськыйи мовъ не своею сылою; мовъ який чаривныкъ-чорнокныжныкъ, ходывъ винъ помижъ мыромъ, сіючы свои чары.

Загадавсь Петро, зажурывсь про лыху Украинську долю; забувъ, чого й прыйшовъ сюды, у Романовського Куть. Якъ ось ударылы въ бубны, а скризь по вищовому мисту почалы гукаты оклычныкы: *У раду! въ раду! въ раду!* Уси заметушылысь и почалы тягтысь туды, де быто въ бубны. Боржій за всихъ поспипалы въ раду братчыкы.

„Чого се бѣють у вищови бубны?“ пытае одынъ братчыкъ другого, пробыхаючысь промижъ людомъ.

„Хиба не знаешъ?“ одвитуе той. „Судытымуть Кырыла Тура!“

Схаменувсь тогда Петро и пійшовъ боржій за двома Запорозцями, не одризняючысь одъ йихъ до самого суднього миста. Пошастыло йому такъ добре стать, що черезъ козацьки головы усе було видно. Посередъ суднього колеса стоявъ Кырыло Туръ, потупывшы очи, а кругомъ його усе братчыкы. Мыряне й соби перлысь напередъ, щобъ подывытысь на Запорозькый судъ, да

не такивськи були Нызовци, щобъ пропустылы до суднього колеса, кого не треба. Ставшы плечемъ поузь плече, рядивъ у тры чи що, уперлысь у землю ногамы, и вже якъ ни товпылысь иззаду городови козаки зъ мищанамы й поспильствомъ, не зъузылы воны ни на пядь порожнього посередыни миста. Хто бажавъ що побачыты, або почуты, то хиба черезъ головы побачывъ; а багато людей, позлазывши на дубы, звидты дывылысь.

У первому ряду выдно було Петрови Бруховецького зъ гетьманською булавою. Надъ йимъ вйськови хорунжи держалы бунчукъ и хрещату короговъ. Коло його, по праву руку, стоявъ вйськовий суддя съ патерыцею, а по ливу вйськовий пысаръ, съ каламаремъ за поясомъ, зъ перомъ за ухомъ и папиромъ у рукахъ; а дали по бокамъ довгоусыйи диды Сичовыйи. Си вже хоть за старостю жадного й уряду не держалы, а на радахъ йихъ ричъ була попереду. Не одынъ изъ йихъ и самъ бувавъ кошовымъ на вику, такъ теперъ йихъ пановано й поважано якъ батькивъ. Пятеро йихъ стояло, якъ пятеро сывыхъ, волохатыхъ голубивъ, похылывши тяжкыйи одъ думокъ головы. Куринне отаманне и всяка старшына докинчали первый обидъ вищового колеса. Уси були безъ шапокъ: сказано — въ судньому мисти.

Роспочавъ судъ надъ Кырыломъ Туромъ батько Пугачъ. Выйшовшы зъ ряду, уклонивсь винъ на вси чотыри стороны нызенько, потимъ ище оддавъ особо одынъ поклонъ гетьманови, да дидамъ, да отаманамъ по поклону, и почавъ говорыты голосно й поважно:

„Пане гетьмане и вы, батькы, и вы, панове ота-

манне, и вы, братчыкы, хоробрыѣи товариши, и вы, православни Хрыстыяне! на чимъ держытця Украйна, якъ не на Запорожжи? а на чимъ держытця Запорожже, якъ не на давнихъ, предковичныхъ звычайхъ? Нихто не скаже, колы почалось козацьке лыцарство. Почалось воно ще за оныхъ славныхъ предкивъ нашихъ Варягивъ, що моремъ и полемъ славы у всего свиту добулы. Отъ же нихто съ козацтва не покалявъ тыйи золотой славы — ни козакъ Байда, що высивъ у Царигради на зализному гаку, ни Самійло Кишка, що мучывсь пятьдесятъ-чотыри годы въ Турецкѣй каторзи, — покалявъ и тилькы одынъ ледащыця, одынъ палывода, а той палывода стойить передъ вами!...

Да взявъ Кырыла Тура за плечи, да й повернувъ на вси боки. „Дывись“, каже, „вражый сыну, въ вичи добрымъ людямъ, щобъ була иншымъ наука!“

„Що жъ сей паскудныкъ учынывъ?“ ставъ изновъ глаголаты батько Пугачъ до громады. „Учынывъ винъ таке, що тилькы пѣфу! не хочетця й вымовыты. Знюхавсь поганый зъ бабамы, и наробывъ сорома товариству на вси роки. Пане гетьмане и вы, батькы, и вы, панове отаманне, и вы, братчыкы! подумайте, порадьтесь и скажите, якъ намъ сього сорома збутысь? яку бь кару ледачому пакостныкови здекретуваты?“

Нихто не вырывавсь изъ словомъ; уси ждалы, що гетьманъ скаже. А диды кажуть: „Говоры, батьку гетьмане; твое слово — законъ.“

Бруховецькый скорчывся у тры погыбели да й каже: „Батькы мои ридни! що жъ здолаю выдуматы путне своимъ никчемнымъ розумомъ? У вашихъ-то сывыхъ, пановныхъ головахъ увесь розумъ сыдыть! Вы

знаете вси стародавни звичаи и порядки, — судить, якъ самы знаете, а мое дило махнуть булавою, да й нехай по тому буде. Не дармо же я васъ вывивъ изъ Запорожя на Вкрайину: порядкуйте по стародавньому, якъ самы знаете, судите и карайте, кого самы знаете, а я свого розуму супроти вашого не покладаю. Уси мы передъ вашымы сывымы чупрынамы диты и дурни“.

„Ну, колы такъ“, кажуть диды, „то чого жъ довго миркуваты? До стовба та кыямы!“

Гетьманъ махнувъ булавою. Вищове колесо заворушылось. Ради кинецъ.

Горопаху Кырыла Тура звязалы верьовкы да й повелы до стовпа, що стоявъ недалеко. Прывязалы бидаху такъ, щобъ можна було повертатысь на вси боки, ще й праву руку оставылы на воли, щобъ можна було бидоласи достать кившъ да выпыты меду, або горилкы; бо такъ водылось у тыхъ хымерныхъ Нызовцывъ, що коло стовпа тутъ же й горилка стоятыме у дижечци, и калачивъ решето—разъ для того, щобъ, завдавшы голови хмелю, не такъ тяжко було горопаси кинчаты жизнь, а въ-друге для того, щобъ охотнйшъ козаки брались за кыйи. Тутъ бо й кыйивъ лежавъ оберемокъ. Отсе жъ усякый братчыкъ, идучы мимо, зупынытця коло стовпа, выпъе корякъ меду, чи горилкы, калачемъ закусыть, визъме кый, ударыть разъ выноватого по спыни, да й пйшовъ своею дорогою. „А вже въ йихъ таке було прокляте заведеные“, розказують було старосвитеськи люде, „що якъ симъ разъ одважыть кыякою, то хлеба бильшъ не йистынешъ“. Ридко, ридко траплялось, що жоденъ братчыкъ до ковша не доторкавсь, а проходывъ мимо, мовъ и не бачыть ни-



Привязаны бидуху такъ, щобъ можна було повертатись на вси боки. (Ст. 162).

чого. То було простойти бидный тимаха свое время, одвяжуть, да й правь. Тилько, щобъ заслужыты такую ласку въ товариства, треба було козакови незнать якимъ быты рыцаремъ. Правда, й Кырыло Туръ бувъ у Сичи не послидушый, бувъ козакъ-душа, а не братчыкъ, да й вына жъ його була дуже тяжка: більшой выны й не було, здаеця, въ Запорозцивъ надъ отте скаканне въ гречку. Тымъ-то иншый братчыкъ, хоть и жаловавъ дуже козака, да, щобъ не расплодывъ такой грихъ мижъ *молодыками*, ишовъ и бравсь за кый. Хиба вже, зглянувши на Кырыла Тура, перемагавъ свое жорстоке Запорозьке сердце. Знаете, чи разъ же то доводилось у-купи яку прыгоду на дыкихъ поляхъ терпиты, або одынъ одного зъ биды вызволяты? такъ, згадавши старовину, братчыкъ и руку опускавъ, и, мовъ не винъ, отъ стовпа одходывъ.

Ще жъ до того беригъ Кырыла Тура одъ лыхой халепы й побратымъ його, Богданъ Черногоръ. Сей, ходячы кругъ стовпа, одного зупыныты покирнымъ проханнемъ, другому покрыкне про яку-небудь Кырылову послугу, а на иншого блазня, то й посварытця; то такый, знаючы Черногорське завзяття, и одыйде, мовъ китъ одъ сала, хоть-бы й радъ горилкы покоштоваты. Благаючы иншого отамана, ажъ слизмы облывавсь вирный Туривъ побратымъ; а въ Сичи великого стояло таке щыре побратымство.

Якъ ось иде просто до стовпа батько Пугачъ. Сього похмурного дидугана не посмивъ Богданъ Черногоръ ничымъ поприкнуты; а де вже на його сварытись? хоть же бъ його й бажавъ благаты, то й языкъ не ворочаетця. Такъ якъ молодой цуцыкъ ховаеця

пидь ворота, побачывшы старого сусидського бровка, такъ бидный Черногорець оступывсь геть, даючы до-рогу жорстокому дидови. А той прыйшовъ до стовпа, выпывъ корякъ горилки, ище й похвалывъ, що добра горилка, закусывъ калачемъ, узявъ у руки кый. „Повернысь“, каже, „сякый-такый сыну!“

Сердега повернувся, а винъ йому такъ одважывъ кыемъ по плечахъ, що ажъ кисткы захрумтили. Однакъ Кырыло Туръ показавъ себе добрымъ Запорозцемъ: и не зморщывсь, и не застогнавъ.

„Знай, ледащо, якъ шановаты козацьку славу!“ сказавъ батько Пугачъ, положывъ кый да й пійшовъ соби геть.

Дывлячысь оддалеки на Запорозькый прочуханъ, Петро помирковавъ, що не багато Кырыло Туръ выдержыть такыхъ гостынцевъ. Жаль йому стало нетягы; пидійшовъ до його, чи не дасть якого завиту сестри да матери.

А Богданъ Черногоръ думавъ, що винъ хоче попробоваты, чи крипки въ Тура плечи; заслонывъ своего побратыма спыною, схопывъ за шаблюку да й каже: „Море! я не попушу усякому захожому знущатись изъ мого побро! доволи й своихъ братчыкывъ“.

„Багацько жъ, мабуть, и въ тебе въ голови мозку!“ каже Кырыло Туръ. „Пусты його; се добра людына: у багно тебе не втопче, якъ завязнешъ, а хиза зъ багна вытягне. Здоровъ бувъ, братику! Бачъ, якъ гарно въ насъ трактують гостей? Се вже не гарячи млынчыкы, пане брате! Выпьемъ жъ по коряку меду, щобъ не такъ було гирко“.

„Пый, брате, самъ, а я не буду“, каже Петро,

„щобъ ище ваши диды не звелилы оддячыты тоби кыемъ“.

„Ну, бувайте жъ здорови, братци!“ каже Кырыло Турь; „выпью я й самъ“.

„Що сказаты матери да сестри?“ поспытавъ Петро.

Згадавши про матеръ та про сестру, Кырыло Турь похылывъ голову, дали й каже съ песни:

Ой который, козаченькы, буде зъ васъ у мисти,
Поклонитця старій неньци, нещасній невести:
Нехай плаче, нехай плаче, а вже не выплаче,
Бо надъ сыномъ, надъ Кырыломъ, чорный во-
ровъ криче!

„Се такы й станетця съ тобою, превражый сыну!“ каже пидходячы одынъ Сичовый дидъ; а за нымъ иде ще трое. „Не вповай“, каже, „на те, що молоди тебе обходять; мы й сами тебе вкладемо, ось дай лышь выпыты намъ по коряку горилкы“.

Да й узявъ корякъ; зачерпнувъ, выпывъ, покректавъ, да, взявшысь за кый, и каже; „Якъ вамъ здаетця, батькы? Я думаю, дать йому разъ по голови, та й нехай пропадае ледащо!“

„Ни, брате“, каже другый дидъ, „нихто зъ насъ не зазнае, щобъ колы-небудь быто выноватого по голови. Голова—образъ и подобье Боже: грихъ пидійматы на неи кыя. Голова ничымъ невинна: *изъ серця исходять помышленя злая, убыйства, прелюбодіяня, любодіяня, татьбы*, а голова, брате, ничымъ невинна“.

„Дакъ що жъ, брате“, каже третій дидъ, „колы того проклятого серця дубыною не достанешъ? а по плечахъ не добыты намъ сього вола й обухомъ. А

шкода пускаты на свить такого гриховода: и такъ уже чор'знае на що переводытця славне Запорожже“.

„Послухайтє, батькы, мои рады“, каже четвертый дидь. „Колы Кырыло Турь выдержыть сей прочухань, то нехай живе: такый козарлюга на що-небудь здасця“.

„Здасця?“ каже, идучы мимо, батько Пугачь, „На якого биса здасця такый гриховодныкъ православному Хрыстыянству? Быйте його, вразького сына! Шкода, що мини нельзя бильшь братысь за кый, ато я молотывъ бы його, покы бь увесь цеберь горилкы выпывъ. Быйте, батькы, превражного сына!“

Тогди диды выпывалы, одынъ за однимъ, по коряку горилкы, бралы кыйи и давалы Кырылу Турови но плечахъ. Сылы въ старыхъ рукахъ було въ йихъ ище доволи, що ажъ плечи хрумтылы. Иншый давно бь уже звалывсь изъ нигъ, а Кырыло Турь выдержавъ уси чотыри кыйи, не покрывывшысь; ище, якъ одійшлы диды, и шутковавъ изъ своимъ гостемъ.

„Добре“, каже, „парять у насъ у Сичовой лазни, ничого сказаты! Писля такой прыпаркы не заболять уже ни плечи, ни поясныця“.

„Що сказаты твой паниматци?“ пытаетця ще разъ Петро.

„А що жъ ий сказаты?“ одвитуе Кырыло Турь. „Скажы, що пропавъ козакъ ни за цапову душу, отъ и все. А прыкмету надъ моимъ скарбомъ знае побратымъ. Одну часть оддасть винъ старій неньци та сестри; другу одвезе у Кыивъ на Братство: тамъ мене спокусывъ грихъ, нехай же тамъ молятця й за мою душу; а третью одвезе у Чорну Гору: нехай добри

юнакы куплять соби ольвяного бобу та чорного пшона, щобъ було чымъ помянуты на лыцарськихъ грецяхъ Турову душу“.

„Крипысь, побро“, каже Богданъ Черногоръ, „бильшь ниhto не зниме на тебе руки. Отъ незабаромъ ударять у казаны до обиду; тоди одпустять тебе, да й будешъ вольный козакъ“.

Мусывъ Петро подождаты до обидь, чи не потишуть матери да сестры Кырыловой доброю звисткою. Ходючы по вищовому мисту, постеригъ винъ, що не одынь тилько Черногорець оборонявъ Кырыла Тура: багато братчыкивъ, зустріваючысь изъ другымы, брались за шаблю, мовъ вымовлялы: „Ось тилько поквался на горилку, то выцижу я ии съ тебе хутко!“ Якъ же вдарылы въ казаны до обиду, тогда цила купа Запорозцивъ кынулась до Кырыла Тура; одвязалы одъ стовпа, обнималы и поздоровлялы по бани.

„Ну васъ икъ нечыстй матери!“ каже Кырыло Туръ. „Колыбъ самы постоялы въ стовпа, то одпала бь охота обниматись“.

„А що, дяволивъ сыну!“ каже, пидходячы батько Пугачъ, „смачни кыйи коповыйи? Може, теперь плечи болять такъ, якъ у того чорта, що возывъ ченця въ Ерусалымъ? На, вражый сыну, прыложы оце лыстя, такъ завтра мовъ рукою зниме. Быто й насъ де за що замолоду, такъ знаемо мы ликы одъ сього лыха“.

Роздяглы братчыкы Кырыла Тура, а въ Петра ажъ морозъ пйшовъ по-за шкурою, якъ побачывъ винъ билу його сорочку, що сестра-жалибныця шыла й мережыла, усю въ крови; ище й попрыкыпала до рань. Кырыло Туръ ажъ зубы сципывъ, щобъ не стогнаты,

якъ почалы оддыратъ и одъ тила. Батько Пугачъ самъ прыложывъ йому до спины шыроке якесь лысте, помазавшы чымсь лыпкымъ.

„Ну“, каже, „теперь ходы здоровъ, та не скачы въ гречку, ато пропадешъ якъ собака!“

Тогди братчыкы зъ веселымъ гукомъ пиднялы дижки зъ медомъ та зъ горилкою, узялы стужку съ калачамы да й повелы Кырыла Тура до обиду.

Обидалы добри молодци на трави, пидъ дубамы, усякый куринь особе, изъ своимъ куриннымъ отаманомъ. Диды обидалы въ гетьманському курини; тилько Пугачъ прыйшовъ на трапезу до Кырыла Тура, и то вже була велыка честь усьому куриневи. Кырыло Туръ уступывъ йому свое отаманське мисто, а самъ сивъ коло його. Два кобзари, сыдючы навпроты йихъ, игралы усякыхъ рыцарськыхъ писень, и выпивувалы про Нечая, про Морозенка, про Перебийноса, що здобулы на всьому свити несказанной славы; выпивувалы и про Берестецкый рикъ, якъ козаки бидовалы да, бидуючы, сердце соби гартовалы, — и про степы, и про Чорне море, и про неволю и каторгу Турецьку, и про здобычъ да славу козацьку; усе поважnymъ словомъ передъ товариствомъ выкладувалы, щобъ козацька душа и за трапезою росла у-гору.

Поблагословывсь ото батько Пугачъ до трапезы; уси взялысь за святой хлибъ, усякъ вынявъ зъ кышени ложку (бо Сичовикови безъ ложки, що безъ люльки, ходыть не годылось); якъ ось Кырыло Туръ, озырнувшысь кругомъ, и каже: „Эхъ, братчыкы! мини паморoky забыто кыямы, а въ васъ, мабуть, изъ-роду въ

голови ключья. Колы жъ се въ свити выдано, щобъ выпроводыть гостя зъ коша на тще-серце?“

„Пане отамане!“ кажутъ, „бороны насъ Боже, одъ такой скнаросты! Про якого се ты гостя глаголешъ?“

Колы жъ тутъ саме и йде Богданъ Черногорець изъ Петромъ?

„Ось мій гисть!“ каже Кырыло Туръ. „Се, колы хочете знаты, сынъ Паволоцькаго попа, той самый, що, якъ стукнувся изо мною за Кывомъ, то ажъ поле всмихнулось“.

Ради булы уси братчыкы, побачывшы Шрамового сына. Давно вже воны чувалы про його рыцарство. Инши, уставшы, обіймалы його якъ брата, други потиснялысь, щобъ було йому мисто.

„Сидай била мене, сынку“, каже батько Пугачъ. „Ты добрый козакъ. И батько твій добрый козакъ, тилькы здуривъ на старистъ. Колы бъ ще й йому тутъ не склалось лыха, бо на ради безъ биды не обійдетця“.

„Що буде, те й буде“, каже Петро, „а буде те, що Богъ дастъ“.

„Що? може, думаешъ, ваша визьме?“ крыкнувъ гризно супротивъ його батько Пугачъ. „Чортового батька визьме! Не дурно мы вчора зъ Иваномъ Мартыновичемъ стричалы царськихъ боярь, а вже стричалы мы йихъ не съ порожними руками. Перевернемо мы до-горы усю вашу старшыну!“

„Знаешъ, що, батьку?“ каже йому Петро, „шкода, що молодому старого не до ладу вчыты, а я сказавъ бы тоби гарну гуторку: Не хвалысь, да Богу молысь“.

„Молылысь, козаче, мы вже йому добре“, одвитуе батько Пугачъ, „уже Господь уси души прывернувъ

до нашої стороны. Пидвернемо теперъ мы пидъ коры-то вашихъ полковныкивъ, та гетьманивъ; заведемо на Вкрайини иншый порядокъ; не буде въ насъ ни пана, ни мужыка, ни багатого, ни вбогого; усе буде въ насъ обще.... Э, козаче!“ каже зновъ ласкавымъ голосомъ, „да въ тебе, бачу, нема ложки! Що то не нашего поля ягода! У васъ, Городовыхъ, усе не по-людськы робытця: йидять изъ срибныхъ мысокъ, а ложки пры души кат’ма. Зробите йому, хлопци, хочъ изъ бересту, або зъ скорынкы ложку, ато скаже батькови: „Тамъ вражи Запорозци голодомъ мене заморылы“. И такъ уже старый пекломъ на насъ дыше“.

На обидъ у Запорозцивъ мало подавали мясыва, а все тилько рыбу. Добри молодци, якъ ченци, мяса не любылы. Посуда була вся деревяна, и чаркы й корякы—усе зъ дерева. Трапезуючы, добре тягнулы братчыкы горилку, медъ, пиво, однакъ нихто не впывсь, такъ-то вже повтягувались.

Бильшъ одъ усихъ пывъ на сей разъ Кырыло Туръ: хотивъ, мабутъ, бедаха завдаты соби хмелю, щобъ не такъ болилы плечи, да й хмиль не подоливъ його. Зробывсь тилько дуже веселый, и якъ усталы зъ-за обидъ, да якъ почалы братчыкы танцьоваты пидъ бандуру, винъ и соби пійшовъ навпрысядки; качавсь колесомъ и выроблявъ таки выкрутасы, що нихто бъ и неподумавъ, що сього козака быто недавно кыямы. Запорозци не навтишалысь исъ такой терпелывосты.

Петро мій послы обидъ хотивъ иты до-дому, такъ Кырыло Туръ прыдержавъ його да й каже: „Пострывай, брате, и я пойиду. Писля такой бани не довго

покрипесся. Передъ товариствомъ соромъ кволытысь, а дома заляжу до завтрього“.

„Отъ, погаявшысь ище трохы, звеливъ Кырыло Туръ осидлаты двое коней, да й пойихавъ зъ коша, шепнувшы щось побратымови. Дорогою Кырыло Туръ точывъ усяки баляндрасы, дали й каже: „Прыставай, брате, въ Запорозци. Якого тоби чорта тратыть лита мижъ тымъ нависноголовымъ Городовымъ козацтвомъ?“

„А що ты думаешъ?“ каже Петро: „я вже й самъ не разъ про се мизковавъ“.

„Отъ люблю козака!“ мовывъ Запорожець. „Якого биса доживесся ты въ Городахъ? Городы твои швидко вже до-горы ногамы стануть“.

„Що вже й спомынаты про се, Кырыло?“ каже Петро. „Самъ я бачу, що беда надиходыть звидусюды. Однакъ скажы мини щыро, нехай бы хто, а ты вже чого йдешъ протывъ Сомка?“

„Эхъ, и ты жъ голова!“ одвитуе Кырыло Туръ. „Хто жъ протывъ його йде? Що я вкравъ у його молоду, се ще лыхо не вельке. Молодой йому зовсимъ не треба: инше готуетця йому весилле! та й не одному йому. Заграють вашій городовій старшыни у Запорозьку сопилку такъ, що затанцюють нехотя. Уже що наши братчыкы задумають, чи добре, чи лыхе, такъ швидче воду въ Днипри зупынышъ, нижъ йихъ. Хоть гребли гаты, хоть мосты мосты, вода прорветця: ни порадою, ни сылою не переможешъ нашего товариства. Лучче плывы, куды вода несе ... Побачымо, що станетця зъ вашою Украйиною, якъ прыймутця няньчыты и такы нянькы!“

„Не доберу я толку въ твойихъ ричахъ“, каже Петро. „Що за охота тоби мене морочыты? То заговоришь будимъ щыро, то зновъ туманъ у вичи пустышь. Покинь хоть на часынку свое Сичове юродство. Я чоловікъ безъ хытрощивъ: чому жъ бы й тоби не говорыты просто?“

Запорожець зареготавъ. „Ой, козаче“, каже, „козаче! та хйба жъ на свити есть хочъ одна проста дорога? Думаешь иты просто, а зайдешъ чор'знае куды! Хотилось бы чоловікови честно положыты жывоть за виру Хрыстыянську, а лукавый пидлизе та й уплутае не знать у яки тенеты. Хотилось бы чоловікови *не стояты на пути гришныживъ, не ходыты на совитъ нечестывыхъ, не сьдыты на сидальци губытелей*; такъ що жъ? не всякому ривнятысь изъ Божымъ Чоловикомъ. У того й думка й серце у закони Господньому, поучаетця *винъ закону Божому день и ничъ*; а въ такого ледачого, якъ я, хочъ-бы думка и такъ и сякъ, такъ серце не туды тягне....“

„Куды жъ тебе тягне серце?“ спытавъ Петро. Не вже котюга зновъ думае про сало, дармо шо натовклы вже пыкою объ лаву?“

„Пьффу!“ ажъ плюнувъ зъ досады Запорожець. „Ты йому образы, а винъ тоби лубье! Голоднй куми хлибъ на уми. Згынь ты зъ своїмы бабами! доволи чоловікови и безъ ныхъ смутку“.

„Ну, а куды жъ бы тебе ще тягнуло серце?“ каже Петро.

„Куды бъ воно мене тягнуло!“ каже Запорожець, да й здыхнувъ такъ важко, шо Петро ажъ усмихнувсь: думавъ — яка вже нова выгадка.

А Кырыло Туръ мовъ и не чуетъ його смиху; смутно похыльвѣ голову, нибы й забувъ на товарыща, да й почавъ соби чытаты на память изъ Даремыйи (Петро слушаючи ажъ здывовавсь): *Чрево мое, чрево мое болыть минн, смущаетця душа моя, терзаетця сердце мое. Не умолчу, яко гласъ трубы услышала душа моя, вопль раты и биды. Доколи зрнты и мамѣ бижаницыжъ, слышацъ гласъ трубный? Понеже вожди людей моихъ сынове буйныйи суть и безумныйи; мудри суть, еже творыты злая; благо же творыты не познаша... Ухъ!*“ каже здригнувшысь, „братыку, минн не знать що показалось... Проклятый прочуханъ зачынае кыдать мене въ тряско. Та ось и моя хата. Засну, дакъ усе мынетця“.

Прыйижджають до хаты, а назустрічъ йимъ выбігають маты и сестра Кырылова. Якъ же то зрадили сердечныйи, то й росказыты не можна! Одна бере за поводы коня, друга тягне Запорозця зъ сидла, а винъ тилько всмихаецця.

„Бачте?“ каже, „я вамъ казавъ, що ничего журытысь! Та вже, мабуть, васъ такъ Богъ создавъ, щобъ усе кыснуты“.

Хочуть його обнять, а винъ рукамы йихъ одпыхае; „Ни вже“, каже, „сього не буде. И такъ братчыкы трохи не прогналы зъ куриня, що провонявсь, кажуть, бабою“. А Петру шѣпче: „Теперь минн такъ до обнимання, якъ гришныку до гарячої сковороды“.

Хотивъ Петро заразъ иты до-дому, такъ Кырыло запросывъ на чарку горилкы; да й стара няня и сестра Кырылова кланяючысь просылы, щобъ хоть заглянувъ у хату.

„Ну, паниматко!“ каже Кырыло Туръ, „давай же

намъ теперь такой горилки, щобъ и самъ дьяволъ зайшовъ у голову! та давай цилу боклагу; такимъ лыцарамъ, якъ мы, пляшкы й на одного мало“.

Якъ-же внеслы съ комори горилки, Кырыло Туръ, замистъ щобъ шановаты гостя, узявъ боклагу да й почавъ цмулыты зъ неи якъ воду. Маты, боячысь, щобъ винъ не перепывсь, хотила однять боклагу, а винъ: „Геть, мамо, геть! чоловикъ не скотына, бильшь видра не выпъе“.

И почавъ зновъ цмулыты, цоки знемигшысь упавъ безъ памяти на землю. Уси стривожились, а одынъ Петро тилько знавъ, що съому за прычына. Винъ помигъ жинкамъ пиднять Кырыла Тура зъ земли и положиыты на перыну; дали попрощавсь и пійшовъ до Гвынтовчыного хутора, миркуючы про все, що чувъ и бачывъ.



Глава тринадцатая.



ымъ часомъ Шрамъ Паволоцькый, занедбавшы свою старисть, поспивавъ, мовъ простый гонецъ, до Батурына. Сонце ще не выризалось изъ-за левадь, якъ перейхавъ винъ Нижень; ище тилько де-колы просвичувало скризь березы. Ище народъ и до череды не выгонывъ. Шрамъ и радъ, що никто його не бачывъ, бо въ ту смутну годьну инший опыяка не побоявсь бы вхопытъ и попового коня за поводы, пытаючи, чья сторона. Якъ ось чуетъ надъ шляхомъ у гаю гоминъ.

Одни кричать: „На шабляхъ!“

А други: „На пистоляхъ!“

„Куля лукава: кладе правого й выноватого, а зъ шаблею кому Богъ погодить“.

„Ни, шабля — чоловича сыла, а куля — судъ Божый“.

„Та ось пан’отець йиде“, крикнулы ичши, нехай винъ насъ розсудить.

Дывытця Шрамъ, ажъ у гаю зйшлась купа людю чымала. Одни жъ у кармазынахъ и пры шабляхъ, а други въ сынихъ каптанахъ та сирякахъ, безъ шабель, тилько де-котори держать рушныци да косы на плечахъ.

„Чого отсе“, пытае Шрамъ, „понередылы вы сон-

це, щобъ счыныты гвалтъ? Хиба ще мало бучь по Вкрайини?“

Отъ де-яки пошাপковалы його да й кажуть: „Зибралысь мы, пан'оче, на Божый судъ; нехай Господь розсудыть людську кривду“.

„Яка жъ“, пытае, „сталась кривда и одъ кого?“

Кажуть: „Та отъ бачъ, полюбывъ молодець дивчыну, ну, и дивчына не одъ того. Молодець же нашого мищанського роду — сынъ нашого вйта, а дивчына, бачъ, роду шляхетського — дочка пана Домонтовича. Отъ и заславъ молодець до дивчыны; а въ сватахъ пишлы не абы яки люде, — буймыстрове та райци магыстратськийи. Дакъ що жъ бы ты думавъ, пан'оче? якъ привитавъ йихъ панъ Домонтовичъ? Розлютовавсь, мовъ на свою челядь; назвавъ Хамамы, лычакамы. „Не диждете“, каже, „и ридъ вашъ не дижде, щобъ Домонтовичъ отдавъ дочку за Гевала!“

„Отъ якъ розвелычалась ледача шляхта!“ перехопылы тутъ инши зъ сыньокаптанникывъ. „Се тыйи, що впрохалысь у батька Хмельницького на Вкрайину! а якъ-бы не пустывъ, то попропадалы бъ зъ голоду въ Польщи!“

„Цытьте, цытьте, горлатыйи вороны!“ озвалысь тутъ де-яки зъ кармазынивъ, „дайте й намъ що-небудь вымовыты. Не вже вы хочете, щобъ за вашого вйтенка отецъ сыловавъ однимъ одну дочку?“

„Якый“, кажуть, „врагъ просыть його сыловаты? вона зъ дорогою душею пйде!“

„Чого жъ се такъ?“ одвитують кармазыны. А може й гарбуза втелющыть“.

„Гарбуза? ни, не гарбузомъ тутъ пахне, колы сама дала вѣйтенкови каблучку“.

„Годи, годи квакаты!“ кажутъ кармазыны. „Побачымо ось, чыя визьме“.

„Розводьте бойцивъ!“ крычатъ инши.

„Якъ же йихъ розводьте, колы не згодылысь, чи на пистоляхъ, чи на шабляхъ? Нехай розсудить пан'отець. Скажы намъ, будь ласко', пан'оче“, обернулысь до Шрама, „якъ лучче дознаты суда Божого, чи пистолямы, чи шаблямы? Отъ брать стае за сестру, а женыхъ за себе и за все мищанство. Колы женыхъ поляже, нехай потишатця кармазыны; якъ-же поляже кармазынъ, тоди дочку намъ подавай хочъ лусны! не сховаеся одъ насъ ни за высокымы воритьмы, ни за прывелеямы!“

„О, щобъ васъ Господь побывъ праведнымъ громомъ!“ каже тогди Шрамъ.

„За що се ты насъ такъ проклинаешъ?“ каже, зумывшысь, громада.

„О головы слипыи и жорстоки!“ глаголе знову Шрамъ. „Якъ збираетця на неби хуртовына, то й звирюка забуде свою ярость; а вы передъ самую бурею заводьте кривави чвары!“

И помчавсь одъ йихъ не-обзырь.

У Борзни зайхавъ Шрамъ одпочыты до сотника Билозерця. Билозерецъ бувъ старосвितський сотникъ, ище-то съ тыхъ, що перши озвалысь потыху до батька Богдана: „Ецнай, батьку, Украйину, а мы тебе выручимо“. Такъ знавъ його Шрамъ добре, и булы вони приятели.

Тилько що доижджае до ворить, ажъ сотникъ выйижджае зъ двора. Пизнавъ Шрама, и самъ не знавъ, що робыть одъ радости.

„Ну, батьку“, каже, „у саму годину завитавъ ты до насъ у гости!“

„Бачу я й самъ. Бодай лучше ничего не бачыты!“

„Куды жъ отсе?“

„Да въ Батурынъ же, до нависного дида Васюты“.

„Э, уже раду рушылы!“

„Якъ?“

„А такъ. Осъ зайидьмо лышь до господы“.

Зайихалы, ввійшлы до свитлыци, силы кинецъ стола. Тогди Билозерець и почавъ розказоваты. „Такъ и такъ“, каже. „Нависноголовый Васюта коверзовавъ-коверзовавъ, дали таке выгадавъ, що ледви й самъ не пропавъ. „Присягайте мини“, каже, „на послушенство „гетьманське, а не присягнете, то тутъ вамъ и капуть“. Наустывъ вражий дидъ пихоту, да хотивъ такъ прыдавать у Батурыни старшыну, щобъ и не пыснула. Отъ якъ у насъ теперь завелось!“

„Да чога доброго й ждаты одъ такого, що полывавъ Лядськихъ пулумыскивъ?“ каже Шрамъ. „Уже колы ты бувъ разъ *Золотаревськымъ*, то *Золотаренкомъ* изновъ не будешъ! Ну, що жъ старшына?“

„А старшына“, говорыть Билозерець, „почала його усовищуваты: „Побійся Бога! чи тоби жъ довго жыты „на свити? Нехай бы молодшии гетьмановалы. Эй, пане „полковныку! не удавай Сомка на Москву зрадныкомъ! „держысь за його; то ще й самъ, и вси мы пожывемо „зъ упокоемъ“. Куды! росходывсь нашъ дидуганъ: „Скорійшь у мене волосся на долони выросте, ніжъ

„Переяславський крамарь буде гетьманомъ! За мене „бояре на Москви тягнуть, за мене Бруховецький зъ „Запорозцями стоятyme. Ось я пославъ уже посланци до „Зинькова“. — „Не ймы“, кажуть йому, „виры Запороз-„цямъ: вони тебе у-очевыдъкы опукають. Прийжджа-„ють до тебе зъ Сичы за-для узяття тилько подарун-„кивъ. Мы тебе гетьманомъ, мы тебе гетьманомъ обе-„ремо! а тамъ свое на уми. Хиба не знаешъ, якимъ „вони духомъ на Городову старшыну дышуть? се въ „йихъ обычай давній!“ Де тобі! и слухаты не хоче. Якъ ось и гонци зъ Зинькова. „А що?“ — „Эге!“ ка-„жуть, „прощайсь, пане полковнику, зъ гетьманствомъ. „Тамъ Запорозци таке провадять, що ажъ слухаты „сумно“. „А князь же що?“ — „А що князь? князь изъ „Запорозцями за панибрата, а твои подарункы прынявъ „у смихъ, бо въ його й свого доволи“. Васюта й руки „попустывъ. Тогда старшына за його, а пихота й соби „потягла за старшыну; да до того прыйшлось, що трохы „самъ Васюта не наложывъ головою. Якъ ось одъ Сомка „лысть до Васюты“.

„Одъ Сомка?“ пытае Шрамъ здывовавшысь.

„Одъ його самого, одъ Якыма Сомка“.

„Изъ Переяслава?“

„Ни, изъ Ични. Сомко вже въ Ични“.

„Не сподивавсь я“, каже Шрамъ, „щобъ Сомко такъ скоро перемигъ себе“.

„Эге!“ одвитуе Билозерецъ, „крута година насту-„пыла. Цыше до Васюты: „Во имя Боже, ты, пане пол-„ковнику Ниженьський, и вси пидъ його рукою буду-„чийи, послушайте мого голосу, не погубляйте отчизны. „Чи вамъ“, каже, „лучче оставатысь пидъ рукою свы-

„нопаса Иванця, чи пидь рыцарською рукою Переяславського Сомка? Забудьмо всяки чвары. Не часъ намъ теперь враждоваты, часъ за козацьку честь постояты. Я“, каже, „жду въ Ични. Кто есть вирный сынъ своеи отчизны, збирайтесь до мого боку. Не попустымо гетьманської булавы въ ледачи руки“.... Бачыть тогди Васюта, що никуды дитысь, давай старшыну до Ични прохаты, да й рушылы вси зъ Батурына. И я отсе, де-що впорядковавшы, туды жъ йиду. Такъ намовылысь мижъ себе, щобъ уже всима голосами Сомка обрата и прысягу йому выконаты, и пры йому всимъ стояты“.

„Такъ чого жъ гаятысь?“ каже Шрамъ. „На коней да до Ични!“

„Господы!“ сказавъ дывуючысь Билозерецъ, „чи тебе Господь сотворывъ изъ самого зализа, чи що. Ни раны, ни лита тебе не одоливають“.

А Шрамъ йому: „Якъ треба рятуваты Украйину, байдуже мини и лита й раны. *Обновытця яко орля юность моя.* На коня, на коня! ничего гаятысь!“

„Да вгамуйсь, Бога рады! хоть духъ переведы, хоть чарку горилкы выпый да закусы“.

Сякъ-такъ осадывъ Билозерецъ Шрама. Шрамъ уже й самъ тогди почувсь, що треба дать соби пильгу.

Выйихалы зъ Борзны. Чи пройихалы зъ десятокъ версть, чи ни, якъ назустрічъ гонецъ до Билозерця, щобъ простовавъ уже пидь Нижень. „Військо гетьманське пійшло“, каже, „туды ще зъ-ранку, а Сомко гетьманъ зъ Васютою и зъ иншою старшыною то жъ изъ Ични рушылы. Уся старшына прысягу выконала Сомкови на послушенство въ рынокой церкви Ичанській,

да почувшы, що вже бояре пидъ Ниженемъ, просто съ церкви на кони, да й рушылы до Ниженя“.

„Заворушылысь наши!“ каже Шрамъ. „Слава Тоби, Боже! Ну не тратмо жъ часу й мы“.

Повернулы коңей на Ниженську дорогу; йидуть спишно. Выйжджають на Ичанський шляхъ, недалеко одъ Ниженя, ажъ глянуть—и Сомко зъ Васютою йиде. Старшына за нымъ купою. Повитавшысь, Шрамъ заразъ и пытае: „А що, пане гетьмане, яково?“

„Не журысь, батьку“, каже Сомко: „уса буде гарадъ. Уже якъ мы съ паномъ Золотаренкомъ узялысь за руки, то нехай устойить протывъ насъ хто хоче. Лубенський, Прилуцький и Переяславський полкы я выправывъ зъ Вуяхевычемъ пидъ Нижень, а Черниговський буде туды сьогодни на ничъ. Чого жъ ты ище супысься?“

„Ты кажешъ, пане гетьмане, що зъ Вуяхевычемъ полкы выправывъ?“ пытае Шрамъ.

„Зъ моимъ генеральнымъ пысаремъ“, одвитуе Сомко.

„Да то-то жъ! Не давъ бы я йому гетьманського бунчука пидъ таку году“.

„Э, батьку!“ каже Сомко, „тоби бо вже дуже зневирылысь люде“.

„А ты, сынку, дуже багато ймешъ йимъ виры. Я чувавъ про Вуяхевыча де що не гарне“.

„Э, годи! ты мого Вуяхевыча не знаешъ. Нихто лучше його не вмие гамоваты козакивъ: тымъ я й давъ на сей день йому бунчукъ, а не иншому“.

„Похмурна, псхмурна година!“ каже самъ соби Шрамъ.

„Не така ще, якъ тоби здаетця“, сказавъ Сомко.

„Дай, Боже! А що ты скажешъ про поспильство, що купытця коло Ниженя, нехай Богъ крые, наче якъ було на початку Хмельныщыны? Се все Бруховци!“

„Ничого не скажу. Мини бильшъ йихъ жаль, нижъ досадно; бильшъ досадно, нижъ страшно. Поки въ мене въ табори козаки да гарматы, я ни про що й гадки не маю. Ты думаешъ, може, мене дуже засмутили Мыргородци да Полтавци зъ Зинькивцямы. Не засмутили вони мене, а преогорчылы. Не те мини шкода, що тры полкы одпало, а те, що честь, правда поламана“.

„О голову ты моя золота!“ подумавъ Шрамъ. „Колы бъ то такъ уси, якъ ты держалысь честы да правды! ато на кого не зглянешъ — усяке, мовъ звирюка, про свою тилько шкуру да про свій берлигъ дбае!“

Уйихалы въ мисто. Тилько що перейихалы Галатовку урочыще, ажъ ось перегородыла йимъ дорогу процесія: неслы мертвого.

Пытаетця Шрамъ: „Кого ховають?“

Кажуть: „Війтенка“.

„Що сьогодни зъ Домонтовычемъ на Божый судъ стававъ?“

„Того самого. Не послужыла фортунa горопаси. Тилькы стялысь на шабляхъ, заразъ такъ и положывъ його вражый кармазынъ“.

„Э, ни бо!“ перебивъ тутъ хтось изъ-боку. „Перше Домонтовыченко влучывъ війтенка по ливій руци, — кровь такъ и задзюркотала. Мій батько самъ тамъ бувъ, дакъ розказувавъ. Шарпонувъ та й каже: „Годи, буде съ тебе!“ А війтенко: „Ни, або мини, або тоби „не жыты на свити!“ — „Дакъ нехай же“, каже, „Гос-

подь упокойить твою душу!“ та й почавъ налягаты ще бильшь на вѣйтенка. Поплямувавъ його скрызь ранами. „Эй“, каже, „годи! пожалуй самъ себе!“ А той маха та й маха на-ослипъ, ажъ покы дано йому такъ, що й покотывсь, якъ снипъ“.

„Нехай, нехай!“ каже ще одынъ, идучы мимо. „Визьме колысь и наша!“

Дывытця Шрамъ, ажъ за труною того вѣйтенка трохи не ввесь Нижень пиднявся; и все самы мищане: жадного въ кармазынахъ. Дывытця Васюта, ажъ за мищанами сунуть и козаки Ниженськи; и все тилько товариство: жадного сотника, ни отамана. Идутъ, утупившы очи въ землю, и мовъ не бачать ни гетьмана, ни Васюты зъ старшыною. Шрамъ тилько похытавъ головою. Ничого не сказавъ и Сомко, дывлячысь, що козаки, замистъ табора пидъ мистомъ, опынылысь на вѣйтенковыхъ похоронахъ, наче въ свого полковника, да ще пидъ такой велький часъ. А старшына тилько мижъ собою зглядувалась. Зрозумивъ, мабуть, щось и Васюта; бо скоро перейшлы похороны, заразы, одклонившысь гетьманови, повернувъ до свого двору. Старшына Ниженського полку тежъ розъйihalась по дворахъ; а зъ другихъ полкивъ пойихалы за Сомкомъ до табора. А таборъ Сомкивъ стоявъ пидъ Ниженемъ, за Билякивськымы левадами.

Дойижджають до табора, ажъ у табори ще оддалекы чуты гоминъ, галась. Прыйижджають бльжче, ажъ округы табора жаднихъ бекетивъ. Козаки змишалысь, якъ у брази гуца; той туды, той туды йде, и жадного порядку мижъ нымы немає. А тутъ ще почало темниты, такъ Сомкове вѣйсько — наче те море, що

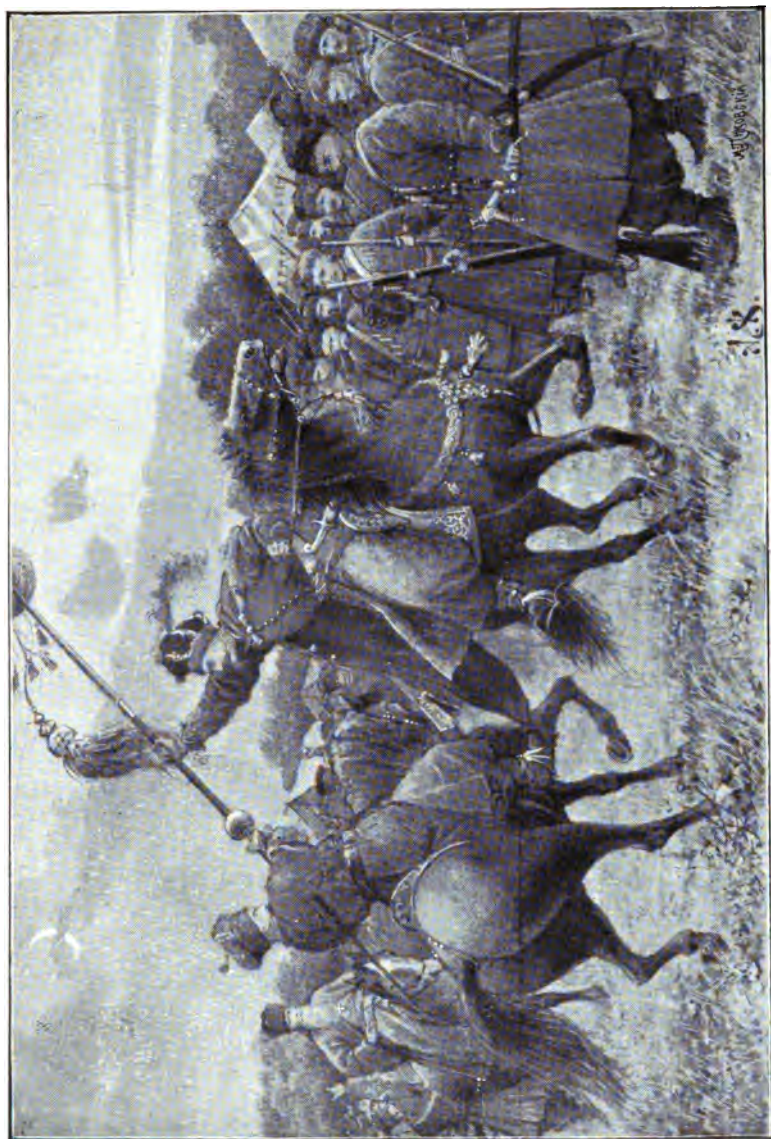
сь-переду ще хочь видно, якъ хвыли ходять, а дальшь, у темноти, такъ уже тилько реве да бурхае.

Добравшысь до свого намету, Сомко заразъ звеливъ позвать передъ себе Вуякевича. Кынулысь шукаты його по табору, да не такъ-то його й анайты у такій мишаныни. Сомко напавсь на пидручныкивъ генерального пысаря, сердывсь, крычавъ; дали бачыть, що тымъ серцемъ мишаныни таборовий не запобигне, розиславъ старшыну по всьому обозови козакывъ гамоваты, а самъ сивъ на коня и пойихавъ по-мижъ наметамы. Шрамъ йихавъ за нымъ, похмурный, якъ ничъ, що надиходыла.

Ажь ось и генерального пысаря узрили. Той давно вже йиздывъ по табору, гамуючы козацтво, тилько одъ його гамовання ище гиршь пидймавъ гоминъ.

„Вражи диты!“ крычыть, „печкуры! Навчымо мы васъ старшыну шановаты! не будете вы въ насъ копылыть губу, якъ тыи Запоровци, що вси въ йихъ ривни. Поривняемо мы васъ такъ, що й не захочете. Мало чого не бувае, що Запоровцямъ усюды своя воля, що зъ нымъ старшына й гетьманъ за панибрата. Пожалуй! у йихъ нема ни вбогыхъ, ни багатыхъ; такъ на те жь воны Запоровци, козаки надъ козакамы. А вы що? мужыкы! тая жь мужва! Да мы васъ, вражыхъ дитей, батогамы! Ось нехай лышь рушать раду, — мы васъ повернемо въ земляну роботу! дамо мы вамъ знаты козацькую вольность!“

Такъ выгукувавъ вйськовый пысарь, и байдуже йому, що кругъ його наче море йграе. И, такъ якъ отъ хвыли розходятця передъ байдакомъ, а зъ-заду зновъ буркочучы злываютця, такъ тыи козаки спершу



и вырвавъ у його зъ рукъ бунчукъ гетьманскій. (Ст. 185).

розступлятця, щобъ дать дорогу пысарьскому пойизду, якъ-же пройиде, то й зачнуть изъ-заду выгуковаты: „Чи чуєте, що панъ пысарь глаголе? мы мужва! насъ батогамы! сыпать валы по Городахъ насъ приставлять! — Дакъ мы будемо працюваты, а старшына одпасуваты боки, орудуючы нами? — И такъ ще мало намъ зневагы? валы сыпаты?— Не диждуть же воны сього!— Не диждуть, не диждуть!“ гукалы ще голоснійше тыйи, що булы дальшъ одъ пысарьского пойизду.

А вйськовый пысарь, хоть и чувъ, да не озыравсь. Винъ свое козакамъ провадывъ.

„Пане пысарю“, каже Сомко, перестрившы його! „що отсе въ тебе за порядокъ? Хиба на те я давъ тоби бунчука?“

А той уклонывсь, правда, низенько, да й каже: „Та отъ, пане ясновельможный, яке тутъ лыхо. Недалеко звидси таборъ Запорозького гетьмана...“

„Гетьмана!“ крыкне Сомко, що ажъ покрывъ увесь галасъ. „Хиба въ тебе й опричь мене есть гетьманъ? Такъ убирайся жъ до його йиздыть на свиняхъ!“ и вырвавъ у його зъ рукъ бунчукъ гетьманський.

Почувшы Сомкивъ голосъ, заразы кругъ його вси замовклы. „Гетьманъ, гетьманъ прыбувъ!“ пишло скривъ по таборови; и скоро рознеслась така чутка, заразы дѣяки бурліи схаменулысь, подумалы про свою голову. Сомко бо жартивъ не любывъ. Пырый и незлобывый бувъ рыцарь, да вже жъ якъ и допечуть йому, то стережысь тогди коженъ. У табори въ його або въ походи знай свою лаву—не такъ якъ у иныхъ. Тымъ-то й былы Сомкиви неприятеля всюды, дѣ тилько стыналысь. Зналы, чога стойить Сомко, уся старыйи, значни

козаки; а військова чернь про те байдуже: їй абы воля. Отъ пидь сю-то волю й пидьйхавъ Иванецъ изъ своїмы Запорозцямы, и пійшло усе якъ у казани кыпITY.

„А що, пане гетьмане?“ каже Шрамъ, „може, ще й теперь за свого пысаря заступыся?“

Сомко тилько махнувъ рукою, и пойхавъ до свого намету.

„Дай лышъ, сыну, мини свого бунчука“, каже Шрамъ: „я липше одъ якого-небудь недоляшка въ тебе попорядкую“.

Сомко оддавъ йому мовчки.

„Бидна козацька голово!“ подумавъ самъ соби Шрамъ. „Оттакъ-то завсегда доводитця намъ та честь да слава! Зъ-боку дывлятця люде, дывуютця, що блищыть, сыяе, а въ сердце ниhto не загляне. Тутъ день и ничъ мизкуешъ розумомъ, не знаючы спочынку, а тутъ пидь бокомъ гадюкы сычатъ и на твою душу чыгають“.

Такъ соби мизкуючы, обійшовъ винъ зъ бунчукомъ увесь таборъ и всюды постановывъ варту, щобъ ниhto въ-ночи съ табора не вештавсь, и до табору никого безъ оклыку не звеливъ пускаты. Да й ни на часыночку не давъ соби одпочынку. Де козаки чи кашу варылы, чи кругъ огныща за саломъ на спычкахъ сыдили, тихыйи речи не про що вже, якъ про чорну раду, ведучы, винъ до йихъ и прыстане; и якъ спомяне старого Хмельныцького, якъ тогда въ козакивъ була воля й дума едына, то козацтво наче й протверытця. А иншій громади Хрыстову прытчу роскаже, сыхляючы буыйи души до кротосты та до любовы; то

козаки, такъ якъ тыйи бжолы одъ кропыла, погудуть та й осядуть.

И добре бѣ воно було; може бѣ, Шрамъ и до кинця козакивъ утыхомырывъ, такъ отъ же — якъ за тымъ сїятелемъ по ныви, такъ и за Шрамомъ Паволоцькымъ, слидомъ ходывъ дьяволъ и всивавъ плевелы въ пшеницю. А той дьяволъ не хто бувъ, якъ полыгачъ Бруховецького, Вуяхевичъ. Надувшысь мовъ той сычъ, проходывъ винъ изъ свойимы пидручныкамы мимо козацьки купы, и, бачця, ничего злого й не діе, тилько то тамъ, то сямъ що-небудь блявкне, да такъ же то козакивъ гиркымъ словомъ зневажае, такъ йимъ те нещасне панство да гетьманство въ вичи тыче, що козаки, прыслухаючысь, тилько усы кусають. И, якъ отъ рыбалка, йиздячы човномъ, кукольванъ розсыпае, такъ той потайный зрадця Вуяхевичъ розсыпавъ гирки слова въ козацькыйи души.

Ажъ ось наступыла темна, глуха ничъ; и добре й эле опочыло. Чи спавъ же то Сомко гетьманъ, чи ни, а Шрамъ не змыгнувъ окомъ и на годыну. Нихто бѣ не росказавъ, нихто й не спысавъ бы всихъ його думокъ. Зъ тяжкою одъ клопоту головою, ходывъ винъ одъ варты до варты, частенько поглядаючы протывъ Романовського Кута. А въ Романовського Кути шыроки дубы одъ огныщъ свитятця; черезъ поле чуты глухый гоминъ; ячять здалеку людськыйи голоса, наче та хвыля на мори передъ лыхою бурею.



Глава чотырнадцята.



оскажемо жъ теперъ, що діялось у дому въ Гвын-товкы, якъ оттакъ працьовавъ нашъ Паволоць-кий Шрамъ. Мабуть, тогди вже така годына була, що й тутъ якось не було ладу ни мижъ жинкамы, ни мижъ чоловикамы. У жиночій громади не йшла въ ладъ ота княгыня, жона Гвынтовчына. Одно, що вона пани великого колина, а друге, що зъ дида, съ прадида вона Ляшка й католычка, такъ уже тутъ якъ не пидходь, а не потоварышышь щыро.

А въ чоловикивъ выйшло свое безладдя. Череваневи було якось дывно, що Гвынтовка наче иншымъ чоловикомъ зробився. Знавъ винъ його замолоду добре. Жвавий бувъ козакъ. Якъ було пустыть Хмельныць-кий по Польщи загоны, то вже нихто дальшь його не проберетця; и говорятъ було козаки: „О, далеко наша Гвынтовка досягае!“ И вже чи въ компаніи, чи що, такъ Гвынтовка друзяка да й годи. Тымъ-то й полю-бывъ його Черевань, и сестру въ його засватавъ. Отъ же й теперъ винъ, бачця, той же, да ни: усе въ його стало якось хытко, и слово його, хоть и бойке, да не таке тверде й щыре, якъ правдыво-козацьке слово. Простый бувъ чоловичына Черевань, а й йому стало розумно, що тутъ щось да не такъ.

„Якъ отсе, Михайло въ васъ учынилось“, пытаеця Гвынтовка въ Череваня, „що ты свою Лесю заручывъ за гетьмана?“

„А чомъ же, бгате“, каже Черевань, „чомъ намъ не заручыты дочки хочъ бы й за гетьмана? Хиба жъ мы зъ-роду зъ гетьманами хлиба-солы не йилы?“

„Хто жъ се говорыть?“ сказавъ Гвынтовка. „Дочка моеи сестры зуміе показаты себе на всякому мисти; тилько що зробылы вы дило спешно, да колыбъ воно не выйшло смешно!“.

„Проты чого се ты закъдаешъ?“ пытае Черевань.

„Протывъ того, що теперь, пидъ сю заверуху, того й гляды, що спиткнесся...“

„Нехай, бгатику“, каже Черевань, „спотыкаютця наши ворогы! а не панъ Сомко!“

„Ге-ге!“ Гвынтовка йому, „спотыкалысь и луччи одъ твого Сомка. Выговський, здаеця, добре сыдивъ на гетьманському столи, — отъ же *Гадяцьки пункты* и того зипхнулы. А кажуть, що Сомко хоче тежъ изъ Москалемъ по Гадяцькихъ пунктахъ торговатысь. Колыбъ свого не проторговавъ! Отъ Иванъ Мартыновичъ липше выдумавъ, що безъ торгу беретця до гетьманства. Тымъ-то й Царь його, кажуть, у великому пошанованню мае“.

„Иванцеви, бгате“, Черевань Гвынтовци, „ничого торговатысь: винъ давно вже чортяци душу запродавъ, такъ йому теперь чи Турокъ, чи православный — усе однаково. Осъ побачышъ, колы винъ одъ Царя не перейде до Турка!“

Не ждавъ Гвынтовка одъ своего зятя такого одвиту. Ничого однакъ же не промовывъ. Будимъ и не винъ,

повивъ свого гостя оглядувать господарство. Тамъ то-кы, повни жбощя, тамъ овечи кошары, тамъ млыны зъ ставами, тамъ по лугу ходыть табунъ коней; усього надбавъ соби Гвынтовка, на всю губу бувъ панъ. Дывовавсь, розглядуочы все те Черевань: якый-то його шурьякъ учынывсь дука! а самъ соби подумавъ: „У мене нема ни такыхъ гайивъ, ни такыхъ шыроченныхъ лугивъ, ни такыхъ вешнякивъ: да за те жаденъ мищань Кывивськый не подывытця скоса на Хмарыще; и покы стоятыме на магыстрати башта зъ дзыгарамы, поты нихто не скаже, що Черевань не по праву занявъ Хмарыще. За готови Лядськи дукаты купывъ я його въ магыстрата, и всяке знае, що за ти дукаты збудовано магыстратську башту“.

Огледили; вернулись. Ажъ ось прыйхавъ изъ Ниженя сотникъ, Гордй Костомара.

„Що ты“, каже, „туть, пане осауле, сыдючы дома, робышь? Тамъ у мисти койитця лыхо!“

„Яке жъ тамъ у васъ лыхо?“ пытае повагомъ Гвынтовка.

„Мищане“, каже, „гуляють съ козакамы“.

„Ну, бгатику“, озвавсь Черевань, „дай, Боже, и по викъ такого лыха!“

„Да пидожды, добродію“, каже Костомара, „черезъ що и якъ гуляють? Бывсь на шабляхъ молодой Домонтовыченко зъ вйтенкомъ, да Домонтовыченко вйтенка й одоливъ“.

„Ну, такъ и аминь йому дурню!“ каже Гвынтовка.

„Аминь? ни, ще сьому дилу не скоро скажуть аминь. Ось слушайте лышь. Мищане повыкочувалы на улыцю бочки съ пывами, зъ медомъ, зъ горилкою,

роблять вйтенкови помынки на ввесь хрещеный мырь; такъ козацтво поскуплювалось, якъ бжолы до патоки, да загуло такъ, що ажъ слухаты сумно. Пьютъ да лають усю Городову старшыну“.

„Ну, такъ що жъ? нехай соби лають“, каже Гвынтовка.

„Оттакъ!... а се якъ тобі здасця, що вси значни люде, що понаййжджалы на раду въ Нижень, боятця носа за ворота выткнуты? Козаки блукають купамы по мисту да бують, якъ тыйи бугайи въ череди,—хочуть дворы ламаты да грабоваты старшыну“.

„А що жъ вашъ полковый суддя робыть?“ спытавъ Гвынтовка.

„А суддя й соби звонтпывъ, пане осауле. Страхъ хоть кого визьме. Колыбъ ще пидъ сю заверуху, пидъ сю чорну раду, якого лыха не счынылось“.

„Що буде, те й буде“, каже понуро Гвынтовка.

„И тобі отсе байдуже, добродію?“

„А що жъ бы мини робыты?“

„На коня та гамоваты козакивъ!“

„Оттака, гамуй йому козакивъ, колы полковныцькый пирначъ у судди!“

„Да що по тому перначеви!“ каже Костомара. „Козаки судди и ухомъ не ведуть, а тебе и безъ пернача послухають. Пойидьмо, Бога рады, пойидьмо!“

„Послухають, да не теперь“, каже Гвынтовка, моргнувшы якось чудно бровами. „Буде часъ, колы воны мене послухають, а теперь, колы пирначъ не въ мене, такъ я й не полковый старшына. Нехай тамъ хоть до - горы ногамы Нижень перевернуть. Моя хата съ-краю, я ничего не знаю“.

„Эге-ге!“ каже потыху сотныкъ Костомара, „такъ, мабуть, не брехня тому, що люде пронесли.... Пане осауле полковый! побійся Бога. Мини здаеця, що ты щось недобре на нашого пана полковныка компоуешъ“.

„Пане Гордію сотнику!“ каже засміявшысь Гвынтовка, „побійся Бога. Мини здаеця, що ты щось недобре на насъ изъ зятемъ компоуешъ. Ось обидь на столи, а ты розвивъ не знать яку розмову. Сидаймо лышь да пидкриплимось, то чи не повеселійшаемо“.

Сивъ сотныкъ Костомара обидаты, да й страва йому въ душу не йде. Пробовавъ то такъ, то сякъ закъдаты оддалеки кручка, щобъ вывидать, що въ того Гвынтовки на думци, такъ той же не такивський: заразь и переверне його речи на жарты. Одъйихавъ назадъ до Ниженя ни съ чымъ.

„Послухай, братику мій любый!“ озвалась тогди Череваныха: „якъ говорывъ ты зъ Костомарою, то въ мене чогось наче морозъ по-за шкурою пишовъ“.

„Ось лыхо!“ каже, обертаючы тее въ жартъ, Гвынтовка: „чи не прыстривъ тебе, сестро, Костомара? У його, кажутъ, ледачи очи: гляне на коня завьдуючы, то й коневи не мынетця“.

„Одъ прыстригу, братику, я дала бъ соби раду; а одъ твоихъ ричей голова въ мене завернулася“.

„Бо не жиноче дило до ныхъ дослухатысь!“ сказавъ понуро Гвынтовка.

„У такому, братику, великому случаю, якъ оця рада, що громада, то й баба. Не перебувала я вашихъ ричей козацькихъ за обидомъ; а зоставшысь на самоти, не во гнивъ тоби скажу, що мини чогось страшно зробылось. Мы жъ изъ-малечку, брате, навчени закону

Божого.... Душа въ чоловіка одна, що въ козака, що въ жинки: занапастывшы їи, другои не добудешъ....“

„Що-то значыть жыть пидъ самымъ Кывомъ!“
перебывъ їи Гвынтовка: „заразъ и выдно чернечу науку. А въ насъ у Нижени такъ жинокъ розумни люде учять: *Жимоча ричъ коло притичка!*“

Да й выйшовъ изъ свитлыци.

Стало вечориты. Вернувсь ото Петро Шраменко. Росказуе й сей, що бачывъ у Рамановського Кути. Череваныха жъ изъ Лесею вжахнулысь и поблидлы на выду, да й Черевань понурывъ голову, а Гвынтовка слушаючы тилько всмихаецця. Дывытця Череваныха на брата и не йме очамъ своимъ виры: що звидусюды надыходять непотишныи висты, усяке тревожитця, сумуе, а йому про все байдуже, йому мовъ у казци кажутъ про тыхъ зрадлывыхъ Запорозцивъ да про тыйи чвары.

Чомъ же отсе — теперъ спытаюсь я — чомъ отсе Петро и Леся не зйдутця и поговорять? То було такы, хоть и стереглысь одно одного, да все такы й повитаютця й погуторять де про що, якъ братъ изъ сестрою, а теперъ боятця й очей звесты одно на одного. Э, шкода й пытаты! Есть у йихъ у обохъ якась думка, тайна, невымовна. Рады бъ вони ту думку задавыть якъ гадюку-спокусныцю, а тымъ часомъ протывъ воли голублять їи въ серци. Тымъ-то вони й не сходятця до-купы, тымъ боятця й очей звесты одно на одного....

Засумовала дуже Череваныха, а Черевань дывлячысь на неи, и соби, мабуть, щось, пораховавъ: смутный сыдивъ за вечерею, смутный уставъ и зъ-за столу. Тилько княгыня не зминыла своеи поставы: якъ та плакуча береза, що клонить и въ дощъ и въ погоду зе-

лени виты додолу, такъ и вона — чи хто смієтця, чи хто плаче, у неї зъ серця не сходять туга.

На другый день, скоро повставалы да повмывались Петро съ Череванемъ, якъ ось иде козакъ одъ Гвынтовки: „Казавъ панъ — надивайте били сорочки та жупаны луданы, бо сьогодни буде рада; а пани прыслала вамъ по новій стьожци до ковнира. Уже тутъ и бояре царськыйи, и Сомко, и нашъ полковникъ зъ старшыною“.

Здывовавсь Петро и звеливъ заразъ соби коня сидлаты.

А Череванъ мирковавъ про стьожку, що княгinya прыслала: „Блакытна; чомъ же не червона? Козакъ звыкъ червону стричку въ ковнири носыты, а се вже, мабуть, Польска мода. Дармо, надинемо й Польску: однаково вже теперь на Вкрайини усе почалось вестысь по-Лядськы“.

Кони булы вже посидлани. Силы козаки и пойихалы спишно. Васыль невольникъ за свойимъ паномъ.

Гвынтовка, обернувшысь, тилько сказавъ: „Гляды жъ, сестро, — ты въ мене теперь госпоdynя — щобъ доволи було всячыны на вечерю; бо я вернусь изъ рады не безъ гостей“.

Выйихалы на узлисса, ажъ людська юрма усе поле вскрыла, а найбільшь чернь-мужыкы. Мужыкы жъ и мищане валять купамы, а козацтво йде лавою пидъ мисто. А пидъ мистомъ розипъято царськый наметъ, и Московське вйсько зъ боярамы стало. Съ правого боку суне зъ своєю стороною Бруховецькый, а зъ ливого Сомкове вйсько выступае. Тилько жъ, за тымы купамы люду, мало що можна було й розгледиты. Хиба по

корогвахъ можна було распизнаты, де Запорозци, а де Городови. У Запорозцивъ на билихъ корогвахъ тилько червони хресты, а въ Городовыхъ орлы и всяке мальованне зъ золотомъ. Гоминъ чынывся по полю скризъ такый, мовъ пидступае Орда. Одно конемъ йиде, друге пихомъ; той у кармазынахъ, а тыйи въ лычакахъ да въ семрягахъ. Попередъ себе звеливъ Гвынтовка йихаты чотыромъ козакамъ, ато бъ и не протовпывся до намету.

„Дорогу, дорогу пану осаулу Ниженському!“ кричать козаки.

„Э, це князь нашъ!“ гукне одынъ у лычаковому кунтуши. „Трывай лышь, недовго верховодытымешъ.“

А другый зупынывъ його: „Не дуже“, каже, „гукай супроты цього пана: я де-що чувъ про його одъ Запорозцивъ“.

„Що жъ ты чувъ?“

„Чувъ таке, шо не дуже гукай на його, отъ що!“

Се жъ зъ одного боку. А зъ другого, помы пробрались трохи промижъ людомъ, чые Петро таку розмову:

„Якъ ты думаешъ? чья визьме!“

„А чья жъ, якъ не Йвана Мартыновича?“

„Э, пострывай лышь! онъ у Сомка, кажуть, у-въ обози доволи гармать и чорного проса; йе чымъ у вичи заглянуты; а винъ-то не такивськый, щобъ оддавъ доброхить булаву зъ бунчукомъ“.

„Будуть наши й гарматы, якъ Бигъ поможе. Вже козакамъ давно обрыдло стояты въ старшыны въ порога. Хто не въ кармазынахъ, то й за стиль не посаждать“.

Пройихалы ще трохи.

„Чи правда бакъ“, пытае одынь бурлака въ другого, „що вчора ховалы вйтенка?“

А той йому: „А якъ же? похороны простяглысь черезъ увесь Нижень, одъ Билякивки до Козыривки. Зъ-роду никто такихъ похоронъ не зазнае“.

Зновъ зупынывся пойдздь: зустривъ Гвынтовка знакомого якогось пана. Той почавъ правыты про Сомка й Иванця, якъ вони зустрились у князя Гагына. Князь ище раннимъ ранкомъ зазавъ козацку старшыну на пораду, й тамъ-то було послухаты, якъ привитавъ Иванецъ Сомка!

„О, Иванецъ — собака!“ каже знызывшы голосъ, Гвынтовка: „якъ уйисця въ кого, то вже свого докаже. Якъ же зложылы буты ради? по нашому?“

„А вже жъ!“

„И Сомко згодывсь!“

„Згодывсь по неволи. Тилько бачъ: Бруховецькый, по уговору, пишо и безъ оружжя веде свою сторону, а Сомко на коняхъ, шатно и пры оружжю. Хоче, кажутъ, зъ гарматъ быты, якъ не по його рада станеться“.

Гвынтовка тилько засмйавсь. „Нехай“, каже, „бъе на здоровъе!“

Розъйихалысь. Гляне Петро, ажъ и коваль якыйсь тутъ ветшаеться, зъ молотомъ на плечахъ.

„Ты Запорозька сторона, Остапе?“ пытае въ його вивчарь съ ципкомъ.

„Щобъ вони“, каже, „выздыхалы тоби вси до одного, тыйи Запорозци!“

„Якъ! за що це?“

„За що? йе за що!... Гмъ! сказано—не виръ жинци якъ чужому собаці!“

„Йо? щобъ - то оце Запорожець та почавъ до жинокъ лыпнуты?“

„Эге! ты ще не знаешъ цихъ пройдысвитивъ! Це, колы хочешъ знаты, сами палыводы?“

„Йо?“

„И не йо! Учора зазвалы мене до коша, буцимъ и добри. „Ось тамъ це да те треба намъ перековаты, а въ насъ такого дотепного коваля й зъ-роду не було“, та й давай мене поштуваты. Я жъ тамъ пгю та бенкетую, а воны въ мене въ господи лыхо коять. Вертаюсь ранкомъ проспавшысь, ажъ дома вже походжено“.

„Та то тоби на похмилля такъ издалось, брате“.

„Издалось!“ ажъ крыкнувъ коваль. „А! це жъ якъ тоби здасця? Пытаю въ Йвася: „Съ кымъ же вы, сын-ку, безъ мене вечерялы?“ А вона, сука, вже й перехлопне: „Зъ Богомъ, скажы, Йвасю, зъ Богомъ!“ А дытына—звисно, мале, лукавства не знае — поглянуло на неи та й пытае: „Хиба жъ, мамо, то Бигъ, що въ „червонимъ жупани?“

Пройихалы й мимо сихъ. Що блыжче къ царьскому намету, то все труднйшгъ було пробиратысь. Коло намету бгють у бубны, а тутъ промижъ народомъ ходять оклычныкы да все крычать: *У раду! въ раду! въ раду!* хоть народъ и безъ оклычныкивъ звидусюды мовъ плавъ плыве. А найбильшъ претця того мужыцтва.

„Ну вже, брате“, каже иншый, „съ порожними кышенямы до жинокъ не вернемось!“

А другый, сміючысь: „Заробымо лучче, нижъ на косовыци! Бачъ, у якыхъ паны кармазынахъ, яки тылягы пидъ золотомъ та пидъ срибломъ понадивалы! Ажъ хрястыть! Усе наше буде!“

„Та й коло крамныхъ комиръ руки погріємо! Казалы Запорозци, що все порявну мижъ мыромъ поділять“.

Гляне Петро, ажъ тутъ мижъ мужыкамы тыснетця й Тарасъ Сурмачъ.

„И ты“, каже, „отсе супротивъ Сомка й пан’отця?“

А той: „Спасыби вельможному пану Сомкови! спасыби й твоему пан’отцеві! вы звыклы обираты гетьмана тилько козацькымы голосамы, а теперъ и нашъ мищанський речныкъ чогось на ради стойты!“ да й потягъ дали.

Ось уїжджають наши у саме колесо вищове. Узялы козацькы одъ йихъ кони. Тутъ уже булы сами козацькы, такъ заразы и дали Гвынтовци дорогу, а за Гвынтовкою й Петро съ Череванемъ пробравсь. Инши зустрившысь тыслы Гвынтовку за руку. Винъ тилько всмихаючысь кланявсь.

Гляне Петро, ажъ помижъ старшыною козацькою тилько де-неде видно у комири червону стричку: усы повыпускалы голубыйи. Ошыбло його страхомъ: тутъ щось недобре скомпоновано!

И Череванъ щось помирковавъ. Обернувъ до Васыля Невольныка: „Отъ, бгате Васылю, яка тутъ чудна мода завелась на стьожкы! У насъ червони, а тутъ — дывысь — усе блакытны!“

А той похытавъ головою да тилько: „Охъ, Боже правый, Боже правый!“

Пробравсь Гвынтовка у саму перву лаву, мижъ полковныкы, сотныкы да осаулы, судда полкови да обозныйи съ хорунжымы; тутъ и пысари стоялы съ каламарямы й бильымъ паперомъ. Посередъ колеса — а

колесо одзначылы такє, що зъ одного краю до другого лєдвѣ можна було що почуты, якъ бы переклыкнуцьця, — такъ посередъ колеса стоявъ стилъ пидъ Турецкымъ кылымомъ. На столи лежала булава Бруховецького, зъ бунчукомъ и корогвою. Самъ Бруховецькый стоявъ у голубому жупани передъ своихъ Запорожцѣвъ. Тутъ уже винъ бувъ не той, що въ Романовського Кути: позыравъ гордо по-гетьманськы, и тилько всмихавсь, узавшысь у-бокы.

Ажъ ось скрызъ царскый наметъ увійшовъ и Сомко зъ своею старшыною — уси въ панцерахъ и мысюркахъ, зъ шаблями й келепамы, якъ до бою. У рукахъ Сомко держыть золоту булаву Богданову; надъ нымъ распустылы хорунжи и бунчукови вѣйськову короговъ и бунчукъ. Два тымпанныкы стали передъ його, зъ срибными бубнамы.

„Гордый, пышный и розумомъ высокый гетьманъ!“ подумавъ Петро: „да на кого ты опираєся, колыбъ ты тилько видавъ! Дьяволъ давно вже одлучывъ одъ тебе вирныйи души.... По тонкѣй кризи ступаєшь ты на своего ворога.... Жаль мини тебе, золота голово, хотъ ты й перепынывъ мини дорогу!“

Такъ думавъ Шраменко, стоючы позадъ Гвынтовкы. А кругомъ раднього колеса крыкъ и гоминъ такый, мовъ Чорне море йграє. Однакъ почувъ Сомко, якъ закрычалы йому Бруховци: „Положи й ты булаву! положи бунчукъ и короговъ, Переяславскый Крамарю!“

Сомко звеливъ ударыть своимъ тымпанныкамъ у срибни бубны. Ущухнувъ трохы галасъ. Винъ тогди, голосомъ чыстымъ и поважнымъ, мовъ у золоту трубу протрубывъ: „Не положу! нехай скажуть мини мои

пидручныкы (и поглянувъ гордо на обыдва боки). А васъ, голодранцивъ, я не знаю, звидкы вы втерлись мижъ козацьке рыцарство!“

Боже! якъ схопытця гвалть: инши вже совалысь изъ колеса напередъ, щобъ слыныгы бой; бо Сичовыкы, хотъ прыйшли й безъ оружжя, якъ сказавъ йимъ князь, да прыпаслы по кыйку пидъ полою. Може бъ, безъ бучы й не обійшло, да сывыйи диды, батькы Сичовыйи, стоючы передъ братчыкивъ, зупынылы. „Стійте“, кажуть, „диты, стійте, ладу ждите!“

А зъ боку Сомкового старый Шрамъ, стоючы у первій лави, поглянувъ на обыдва боки, на своей стороны старшыну, да й каже: „Бачте, диты, съ кымъ намъ довелось важытись за гетьманство! Чи достойни жъ си буйийи вепры Днипровыйи, щобъ трактовать зъ нымы по-людськы? Шаблюю мы зъ нымы розправымось! шаблюю та гарматамы протверезымо сихъ пъяныць никчемныхъ!“

Петро хотивъ бы пробратысь до пан'отця. Знавъ добре, що тутъ безъ лыха не мынетця, такъ хотивъ заделегидь прыстать до невеличкои купкы вирныхъ, що стоялы кругъ старого Шрама, съ червонымы стричкамы. Да вже не можна було теперь жаднымъ побытомъ протыснутысь. А кругъ його стоять усе тыйи окаянныйи зрадци, у блакытныхъ стьожкахъ, да въ голурыхъ жупанахъ, и вже на боючысь голосно розмовляють.

„Ну, брате“, каже одынъ, „дождали мы свого празныка; будемо панамы на Вкрайини! нехай усяке козака знае!“

„Надъ кымъ же мы пануватымемъ“, пытае другый, „колы всяка душа буде ривна?“

„Хто тоби сказавъ?“

„А якъ же? онъ, бачъ, теперъ мижъ козацькою старшыною бованіють, наче грибы въ травѣ, товстопыкыйи бургомыстры одъ мищанъ? а онъ пороззявлялы роты на раду и мужыцьки выборныйи“.

„Ге-ге-ге! не знаешъ же ты Ивана Мартиновича. Я не таке чувъ; гуляючы вчора зъ його джурою. „Одынъ“, каже, „тому часъ, що батько въ плахти. „Нехай повелычаютця, якъ порося на орчыку, а тамъ „доволи зъ йихъ буде й гребли гатыты. Буде кому „пануваты на Вкрайини и безъ мугыривъ. Ивану Мартиновичу абы козацтво прыгорнуты до свого боку“.

Якъ ось — ударылы голосно въ бубны, засурмылы въ сурмы. Выходыть изъ царського намету боярынъ, князь Гагынъ, зъ думнымы дякамы. У рукахъ царська грамота. Його пидручныкы несуть царську короговъ козацькому вйську, кармазынъ, оксамытъ, соболи одъ Царя у подарунокъ старшыни зъ гетьманомъ. Уси послы, по Московському звычайю, зъ бородамы, у парчевыхъ соболевыхъ Турськихъ шубахъ; на ногахъ у князя гаптовани золотомъ, выложени жемчугомъ, сапьянци. Поклонылысь обомъ гетьманамъ и козацтву на вси чотыри стороны. Уси втыхлы, що чутно було, якъ бряжчалы въ бояръ шаблюкы на золотыхъ ланцюгахъ коло пояса. Перехрыстывся князь великымъ хрестомъ, одъ лысыны ажъ за поясъ, потрясъ головою, щобъ поривнялысь сывийи патли, пиднявъ грамоту высоко — два дякы йому руки пиддержувалы — и почавъ вычитоваты царське имя.

Якъ ось, позадь Бруховцивъ, сильска голота, не чуючы ничего, що чытають, почала гукаты: „Ивана Мартыновича волымо! Бруховецького, Бруховецького волымо!“ А Сомкове козацтво задне соби, чуючы, що оглашають гетьманомъ Бруховецького, почало гукаты: „Сомка, Сомка гетьманомъ!“ И по всьому полю слынысь галасъ несказанный. Тогда й передни, бачять, що вси байдуже про царську грамоту, почалы оглашаты гетьманивъ — усе блыжче, все блыжче, ажъ помы дойшло до самой первой лавы.

„Бруховецького!“

„Сомка!“

„Не диде свынойздъ надъ намы гетьмануваты!“

„Не диде крамарь козацтвомъ орудоваты!“

„Такъ отъ же тоби!“

„Визьмы жъ и ты одъ мене!“

И зачепылысь. Кто шаблю, хто кыемъ, хто ножакою.

„Стійте, стійте лавою! крыкне Сомко на свойихъ.
„Даймо шаблямы йимъ одвить!“

Хто жъ выймае шаблю да горнетця до гетьманьского боку, а хто, нобы зъ ляку, тыснетця назадъ, крычучы: „Не наша сыла, не наша сыла! До табору! втикаймо до табору!“

А Запорозци схопылы Иванця за руки да вже й на стилъ сажаютъ, и булаву й бунчукъ до рукъ дають. Зипхнулы й князя зъ думными дякамы, якъ поперлысь. „Гетьманъ, гетьманъ Иванъ Мартыновичъ?“ крычатъ на все горло.

„Диты!“ крыкне на свойихъ старый Шрамъ, „такъ



И зачепылись. Кто саблею, хто шаблею, хто кыемъ, хто ножкою. (Ст. 202).

отсе мы потерпымо таку варугу! Спыхайте Иванця къ нечустій матери?“

И кынулись купою до стола. Сичуть, рубають Нызовцивъ, сажаютъ на столець Сомка. А Запорозци, якъ злыйи осы, не боячысь ничего, зъ однимы кыямы да ножакамы, лизуть и бьютъ Сомкову сторону. Вырвалы въ Сомка бунчукъ и переломылы на-двое, одняли й булаву.

Оглянетця Сомко, ажъ пры йому тилько во жменю старшыны. „Эй“, каже, „годи! нема тутъ нашихъ!“

Старшына гляне, ажъ кругомъ сами Запорозци. Иванецъ, махаючы булавою, крычить: „Быйте, небожата, крамаря! шапку червонцивъ за добру руку!“

Тогди Сомкова старшына бачыть, що лихо, скупылась тисно, плечемъ по-узъ плече, да назадъ до намету. А инши тамъ же поклалы головы. За наметомъ стоялы йихъ кони. Може бъ, и тутъ не влызнули, да Московське вйсько, що прыйшло зъ Гагынымъ, пропуствышы до намету Сомка зъ старшыною, заступыло йихъ одъ Запорозцивъ.

Тымъ часомъ Черевань усе окрыкувавъ Сомка гетьманомъ.

„Що се ты, вражий сыне, репетуешъ, стоючы мижъ нашими?“ крыкнуть на його Запорозци.

„А що жъ“, каже, „бгатци? я свого зятя на всякому мисти оберу гетьманомъ“.

„Еге!“ закрычавъ отаманъ, „се крамаривъ тесть! Быйте його, кабанячу тушу!“

Тутъ де-яки поточылысь до Череваня, и може бъ, тамъ йому й капуть бувъ, да Васыль Невольныкъ пизнавъ ватажка.

„Пугу, пугу!“ закрычавъ: „пугу, Головешка! Гаврыло! хйба не пизнавъ Васыля Невольныка? Не чипай сього пана: винъ на мойихъ рукахъ“.

„Эге? ось де зйшлысь!“ каже той, пизнавшы Васыля. „Угамуйтесь, братчыкы“, каже до свойихъ, „багацько намъ теперь роботы й безъ його“.

Да й поперлысь до столу, бьючи всякого, хто не зъ блакытною стричкою.

А Гвынтовка тымъ часомъ, сившы на коня, пройхавъ сюды-туды, пиднявшы въ-гору срибный пирначъ (де винъ його взявъ, нихто не знае); на перначи повязана шырока блакытна стьожка. „Гей“, каже, „козакы, непорожни головы! хто не забудъ держатись за гвынтовку, до мене! за мною!“ да й пойихавъ зъ рады до табору, держучы високо надъ головою пирначъ изъ блакытною стьожкою. А за нымъ повалыло козацтво, якъ за маткою бжолы.

Козацтво жъ просте рейстрове соби, а старшына, значни козакы, соби. Хто оддалекы забачыть срибный пирначъ, такъ и прылучаетця до боку Ниженьского осаула. Покы перейхавъ поле до Сомкового табору, назбиравсь за нымъ такый пойиздъ, якъ за гетьманомъ. Сомко жъ изъ своею купою на коняхъ прыбувае у таборъ до полку Ниженьского.

Поклыкне Сомко на свойихъ козакивъ: „До шыку! до лавы! Пушкарри, риптуйте гарматы! пихота зъ пыщаллю помижъ гарматамы, а комонныкъ по крылахъ!“

Пойихалы генеральныйи старшыны съ полковою старшыною по всихъ полкахъ, по всихъ сотняхъ шыковаты до бою вйсько. Сомко, увесь палажучы, поблыскуе помижъ лавами своимъ срибнымъ панцеромъ. Одна

въ його думка — ударыть на Иванцивъ таборъ, розметать, якъ полову, тыи гайдамацьки купы, сылою вырвать бунчукъ и булаву въ харцызякы, колы не стало ни розуму, ни правды на Вкрайини!

Ище жъ не пошыковала старшына полкивъ, ище не крыкнувъ винъ *рушай*, а вже полкъ Ниженський съ табору й рушывъ.

„Э, Васюта не звыкъ слухаты старшыхъ!“ каже Сомко. „Ну, дармо, нехай бѣе первый, а мы пидопремо його“.

Колы жъ прыбигае самъ Васюта конемъ: „Бида, пане гетьмане! оттеперъ мы посилы!“

„Що? якъ?“

„Оттеперъ - то въ насъ кобыла порохъ пойила! Не я вже полковникъ Ниженський, а Гвнятовка! Дывысь, якъ перначемъ надъ козакамы посвичу!“

За Васютою бижять де-яки й зъ старшыны Ниженської. Сотникъ Костомара крычить: „Пропала справа! безъ Ниженського полку, якъ безъ руки правыци!“

Ище Сомко не наважывсь, що въ таку трудну минуту чыныты, якъ ось козаки, пидскочывшы до вѣйска стороны Бруховецького, наклонылы сотня за сотнею корогвы, да одвернули, да заразъ и почалы возы свойихъ старшынъ жаковаты — тыхъ, що до Сомка прыхылылысь. А зъ другого крыла Сомковци тежъ зоворушылысь. „Якого“ кажуть, „чорта чекатымемъ, помы насъ визьмутъ шаблею зъ безбулавнымъ напымъ гетьманомъ?“ да похапавшы кожна сотня корогвы, и соби рушылы на поклонъ Бруховецькому.

Бачыть тогди Сомко, що зовсимъ лыхо, побигъ зъ старшыною на коняхъ до царського намету, до князя.

Уходятъ у наметъ, а Иванецъ тамъ одъ князя царськи дары прыймае. Кругъ Иванця Вужевычъ и инши значни Сомкивци зъ Запорозцями.

„Га-га!“ крикнувъ клятый на радощахъ, „отъ яка рыбка въ сакъ ускочыла!“

А Сомко, ничего не слухаючы, до князя: „Що се ты, князю, діешъ? хыба на те пославъ тебе Царь на Вкрайину, щобъ ты потакавъ Запорозькымъ бунтамъ?“

А князь стойть мовъ тороплений, бо ще й до себе не прыйшовъ за великымъ гвалтомъ помижъ вѣйськомъ. У Московщыни винъ зъ роду такой фугы не бачывъ.

А Сомко: „На що жъ ты й вѣйсько зъ Москвы на нашъ хлибъ прививъ, колы воно стойть, не ворухнетця? Не доведе васъ до добра така политыка, щобъ меншого на старшого пидпыраты? Давай мини свою воеводську палыцю—я одыбью твоими стрильцями голу одъ табору?“

Князь тилько переступавъ зъ ноги на ногу.

Якъ тутъ гукне Бруховецькый: „Властю моею гетьманською бороню тобі, князю, втручатись у наши sprawy! Козаки самы соби судди: два съ трейтимъ що хотя роблять. А визьмить, небожата, та вкыньте въ глыбку сього бунтовныка!“

„Такъ нема нигде правды?“ каже Сомко, „ни въ свойихъ, ни въ чужыхъ!“

А Иванецъ: „Есть правда, пане Сомко, и вона тебе покарала за твою гордость! Визьмить його, братчыкы, та залыйте въ кайданы!“

„Пане гетьмане!“ каже вирна старшына, обступившы Сомка, „лучче намъ положить усимъ оттуть головы, ніжъ оддать тебе ворогу на наругу!“

Заплакавъ тогда Сомко, поглянувши на свое товариство. „Братци мои“, каже, „мылуйи! що вамъ бытысь за мою голову, колы погыбае Украина? Що вамъ думаты про мою наругу, колы наругавсь лыхый мій ворогъ надъ честю й славою козацькою? Пропадай шабля, пропадай и голова! прощай, безшасна Укraiино!“ и кынувъ объ землю свою шаблю.

Уси кругъ його тежъ покыдали свои шабли. Щыро заплакалы вирни козаки. „Боже правосудный!“ кажутъ, „нехай же наши слезы упадутъ на голову нашому ворогу!“

Дуже звеселивсь тогда Бруховецький. Заразъ извеливъ Сомка, Васюту и всю йихъ вирну старшыну взяты за сторожу, а Вуяхевычу — на Москву лысты пысаты, що ось нибы-то Сомко зъ своимы пидручныками на Царя козацтво бунтуе, *Гадяцькыйи пункты* ознаймуе людямъ, радючы царського вельчества одступаты.

А князь Гагынъ соби компоуе, якъ бы тыхъ нешасныхъ ище бильшь прытушковаты, щобъ не сплыла на верхъ неправда, що, взявшы одъ Иванця вельки подарунки, його несугій злоби потурае. Тымъ часомъ повивъ нового гетьмана зъ старшыною въ соборну Ниженську церкву до царської присягы. А выйшовшы съ церкви, гетьманъ запросивъ князя съ посламы до себе на обидь, у двирь до бурмыстра Колодiя. Тамъ мищане наготовылы бучный бенкетъ Бруховецькому зъ старшыною.

Глава пятнадцата.



дченывшысь ото Черевань одъ Запорозцивъ, насылу оддыхавсь, щобъ промовыты слово. „Бгате Васылю!“ каже, „давай мини боржій коня! Нехай ій бисъ, сій ради! Отъ не въ добру годуу знесло мене съ тымъ божевильнымъ Шрамомъ!“

Пійшовъ Васылъ Невольныкъ за киньмы, такъ куды! заверуха кругомъ така, що не второпае, куды и йты. Такъ якъ скипка на води крутытця, попавшы на чорторый, такъ винъ ворочавсь мижъ тымъ ярмаркомъ. А тутъ ище добре й не знае, де поставылы коней Гвынтовчynie козаки; такъ наждавсь Черевань у-волю. Скризь народъ товпытця; пидъ боки його штовхають; неборакъ тилько сопе!

„Де оце въ нечыстого мій Васылъ занапастывсь?... „Бгатику“, каже до Петра, „не кыдай же хочъ ты мене!... Ой колыбъ мини добратысь живому та здоровому до Хмарыща! нехай тоди радуе соби, хто хоче!“

Якъ же ото огласылы Запорозци Бруховецького гетьманомъ, то заразь и поридшало трохи на ради. Першъ ото Гвынтовка одвивъ своихъ пидручныкивъ; потимъ и други Сомкивци рушылы до табору. Тилько Запорозци игралы кругъ гетьманського столу, якъ злыи осы кругъ свого гнизда, да простый людъ-селюкы гулы по всьому полю, що тыйи трутни.

Съ пивъ-годыны ще не знали селяне, що мижь козацтовмъ робытця. Якъ-же вже рушывъ Бруховецькый съ княземъ до присягы у мисто, тогди по всьому полю чернь загукала: „Хвала Богу! хвала Богу! наша взяла! Нема теперь ни пана, ни мужыка, нема ни вбогыхъ, ни багатыхъ! уси поживемо въ достаткахъ!“

„Що жъ, братыща?“ кажутъ инши, „рушаймо панськымъ добромъ дилытись! Повне мисто теперь панства“.

„Э, ще буде часъ у мисти погуляты!“ одвитуютъ други; „а онъ козацтво Сомкивъ таборъ рабуе. Дурна Сомкова старшына понабирала зъ собою самыхъ кармазынивъ повни возы“.

„Ну, хто куды любля! усюды йе обь вищо погриты руки!“

И отъ—одна купа сюды, а друга туды, одна сюды, а друга туды: половина люду до миста повалыла, а половина чкурнула до Сомкового табору. По полю оставалысь тилько гулякы, що на радощахъ понаймалы музыкы да й водятця зъ ными купамы, танцюючы.

Чудно було Петрови да й Череванени дывытись на тыйи музыкы та гопакы у такый смутный часъ, що плакаты бь усимъ треба, а не веселытись. Колы жъ валыть, мовъ тыйи фыли людъ одъ табору; а назустрічь йому купа селянъ одъ миста.

„Куды вы?“ пытаютця.

„А вы куды?“

„Мы до Сомкового табору“.

„А мы до миста. Тамъ, кажутъ, йе пожива!“

„Э, чорта съ два!“

„Якъ?“

„Такъ, що не пускають! Московська сторожа не пускає нашого брата въ мисто!“

„Шкода жъ и до табору! Козаки самы тамъ поратся, а нашому брату дають оглоблю по гамалыку!“

„Що жъ оце? дакъ це насъ козаки, мабуть, убрали въ шоры?“

„Троха чи не такъ, якъ Выговський Москву!“

„Якъ ось надбігають ище новийи купы. „Бида!“ кричать, „пропала справа! Чи чулы, що кажуть Запорозьки братчыкы?“

„А що жъ воны тамъ кажуть?“

„Отъ що! посунулись де-яки зъ нашихъ черезъ горбды, стали поратись коло паньскихъ дворивъ, дакъ братчыкы йихъ кыямы. „Убирайтесь.“ кажуть, „икъ „нечыстй матери, мужва невмывана!“ та й выперлы за мисто. Наши почалы булы пручатись: „Мы жъ теперь „уси ривни!“ — „Ось мы васъ“, кажуть, „поривняемо „батогамы! Ховайтесь, вражи диты, заздалегидь по „запичкахъ, покы не здобулысь лыхой годины!“

„Эге! дакъ оттака намъ дяка!“ закрычалы тогди приводци (у кожной купы бувъ свй ватажокъ). Стійте жъ, братци! колы мы помоглы кому злизты на гетьманский стилъ, дакъ зуміемо и зъ стола зипхнуты! Куптесь у полкы, кричить *у раду!* вызвольмо Сомка та Васюту зъ неволи: тыйи за насъ уступляця!“

Заворушывся людъ, загомонивъ; пиднявся по всьому полю галасъ. Тилько ничего съ того не выйшло. Инши помирковавши кажуть: „Ни, вже, мабуть, шкода перемишуваты тисто, вынявши съ печи! Яке посадылы, таке и спечетця. Буде зъ насъ и того, що потанцьовалы днивъ зо два зъ Запорозцями“.

А други: „Шкода, шкода! козацтво теперъ стоя-
тыме уси въ одно; полатають намъ боки, та съ тымъ
и до-дому вернемось. Втикаймо лучше зазделегиды!“

Тымъ часомъ де-яки ведутъ такую розмову.

„Я соби такы піймавъ изъ воза въ табори сало!
буде жинци та дитямъ до Пылыпивки!“

„А я пшопа мишокъ! Колыбъ хто помигъ доперты
до хутора“.

„Ге! що ваше сало та пшоно!“ каже третій воло-
цюга. „Я онъ попавъ бувъ жупанъ такый, що пары
воливъ стоить, та гаспедський козакъ давъ келепомъ
по руци такъ, що не радъ бы й шестерыку! Теперъ
саме въ косовыцю доведетця попоносытысь изъ рукою!
и чаркы горилкы не заробышь. Отъ тоби и рада!“

„Рушаймо, рушаймо до-дому, покы ще й нигъ не
поперебывалы, мовъ кабанамъ у горѣди!“ кажуть
мужыкы. „Ниде правды диты, не на добре дило мы
пустылысь! Липше зробылы наші сусиде, що не послу-
халы Запорозцивъ. Теперъ стыдно въ село и очи поя-
выты: до-вику будуть дражныть чорною радою!“

И почавъ чорный людъ росходытысь. Замовклы
й музыкы, затыхлы и скокы, и весели гопакаы по полю.
Незабаромъ стало кожному розумно, що ничого гараздъ
веселытысь.

Якъ ось почалы розъийжджатысь изъ Ниженя й
шляхта, державци, що булы понаййжджалы пидъ часъ
твоей рады. Иншый привизъ и жинку, й дочку. Така-то
була думка, що теперъ зъйихалось зъ усїеи гетьманщины
рыцарство, такъ чи не пошле Богъ пары. Ажъ тутъ
не весилля вышло. Якъ почала по дворахъ поратысь
військова голота зъ Запорозцямы, то радъ бувъ иншый,

що съ душею зъ мѣста выхопывсь. Иншый же выхопывсь, а другый тамъ и голову положывъ, обороняючы свою худобу и семью; а дочокъ шляхетськихъ и старшинськихъ козаки соби за жинокъ сылоу иншыхъ похапалы.

Кому жъ пощастыло улызнуты за царыну, тыйи, якъ одъ собакъ, мусилы одъ Запорозькой голоты отбыватысь. Отсе йиде значный чоловікъ у кованому вози, да й шаблю держыть голу, або рупныцю пры плечи. Слугы йидуть кинно округъ воза. А за нымъ Нызовци, охляпъ на мищанськихъ коняхъ, женутця якъ шулякы. Хоть стреляй, хоть рубай, лизуть наче скажени. Боронять, боронять пана съ семьею челядь, да якъ звалять одного, другого Запорозци съ коня, такъ хто оставсь — у-ростичъ! А воны, окаянный, коней зупыняють, у колесахъ спыци рубають, возы перевертають, панивъ изъ кармазыну и зъ саеты обдырають. По полю не одынъ визъ съ покаличенымы киньмы валяетця, не одна вдова плаче по мужови, не одынъ бидаха, коначы въ крови, тужыть, що не полигъ пидъ Берестечкомъ. А тамъ скрызъ порозламувани скрыни; одежда лежыть роскыдана, кривава, пороздырана; пухъ изъ перынъ наче снигъ летыть по витру: усюды розбышакы шукалы грошей, усе поролы, розбывалы, роскыдалы. Черевань, дывлячысь, ажъ издригаетця. Довелось бы и йому таке лыхо, якъ-бы не блакытна стричка въ ковнири.

Се жъ одни такъ бидовалы, а други давалы такы добру одсичъ харпызякамъ. Инши догадалысь выкыдать изъ возивъ одежду: снималы зъ себе жупаны-луданы, блаватасы й едамашкы; да кыдалы пидъ ноги Запорозцамъ, абы йихъ несыту заздрить зупыныты.

А Запорожець підхопыть, ткне підъ себе да зновъ навздогнѣть.

„Эй, люде добри!“ крычать инши селянамъ, що, мовъ тороплени овечкы, блукають по полю, „рятуйте насъ, ато й вамъ те буде!“

То люде й оступлять, и оступлять кругомъ визъ; бо вже взналы, що за хыжее птаство тыи братчыкы. А якъ который увяжетця за возомъ, то й самого косою або засмаленымъ колякою огріють, що тутъ изовъетця ледащо. Инши значныйи люде, старшына и шляхта, поскыдавши кармазыны, повдягались у сѣмрягы и мижъ простымъ людомъ до-дому пихомъ пробирались. Тогди-то мужыкы до панивъ, кого зналы, що добрый панъ, почалы зновъ горнутысь и до господы його съ-пидъ Ниженя провожаты; а паны почалы раховаты, якъ бы не зовсимъ попустыть Украйину Нызовцямъ на поталу.

Дывытця Черевань, ажъ и Тарась Сурмачъ йиде возомъ изъ Ниженя. Запорозци його, у лычаковимъ кунтуши, не займають. На вози зъ нымъ ище пивъ-десятка мищанъ.

Побачывшы Сурмачъ Череваня: „Ге-ге!“ крыкне, „оттакъ наши поживылысь!“

„А що тамъ, бгате?“

„Та що! пидъйихалы насъ братчыкы такъ, що тилько ушыма стрепенулы!“

„Що жъ воны вамъ, бгате?“

„Та що! Заразъ у бурмыстра Колодія кубкы, коновкы срибни, ковши, що позносылы зъ усього миста мищане, изъ стола поразхватувалы. Ставъ бурмыстеръ йихъ докоряты злодіякамы, розбышакамы взываты, дакъ и самого трохы не вбылы: „Не взывай козака зло-

„діємъ! Теперъ“, кажутъ, „мынулось *се мое, а се твое*: „усе теперъ обще! Свое добро, а не чуже розиברалы „братчыкы по кышеняхъ!“ Оттакыйи! Ще жъ це не все. Тутъ одни въ бурмыстра бѣнкетують, а тамъ голота распозвлася по мисту, та давай коло крамныхъ комиръ поратысь. Усе съ комиръ порозволикалы. Кынулысь мищане жалитысь до гетьмана, дакъ той сміетця: „Вы жъ хиба“, каже, „вражи сыны, не знаете, що мы „теперъ уси якъ ридни браты? усє въ насъ теперъ „у-купи?“... Такъ-то пидійшлы насъ оманю Сичови братчыкы! Я оце зъ своимы бурмыстрамы зибравсь та швыдшъ додому, щобъ и въ Кыви въ насъ не похазяйствовалы Нызови добродіи“.

„Бгатци!“ каже Черевань, „у прокляту годину выйхалы мы изъ дому! Колыбъ у мене тутъ не дочка та не жинка, то й я сивъ бы зъ вамы та й убравсь изъ сього пекла“.

„Рятуй же йихъ боржій, добродію!“ каже Сурмачъ, „бо вже я чувъ, що гетьманъ просватавъ твою дочку въ дядька Гвынтовкы за свого пысаря“.

„Чорта зъ два просватає!“ гукнувъ тутъ якъ изъ бочки чыйсь товстый голосъ.

Гляне Черевань, ажъ йиде Кырыло Туръ, а за нимъ зъ десяткомъ товариства верхы.

„Чорта зъ два“, каже, „просватає! Уже кому що, а Череванивна моя буде. Нехай же не дурно буде мене за неи быто кыамы!“

„Кырыло!“ гукнувъ на його Шрамѣнко. „Кырыло Туръ! чи чуешъ?“

А той йому йидучы: „Ни, не чую. Який я Туръ? Хиба не бачышъ, якъ теперъ усє на свити поперевер-

талось! Кого недавно ще звали прятелемъ, теперь величаютъ ворогомъ; богатый ставъ убогимъ, убогий богатымъ; жупаны перевернулись на сямряги, а сямрягы на кармазыны. Увесь свить перелыцьовано; якъ же ты хочешъ, щобъ тилько Туръ zostався Туромъ? Зовы мене або бугаемъ, або-що, тилько не туромъ“.

„Да годи, Бога рады!“ каже Петро. „Чи теперь же до выгадокъ? Скажы на мылость Богу, не вже ты зновъ вернувся до своей думкы?“

„Се бъ то про Череванивну закъдаешъ?“ у одвить йому Кырыло Туръ. „А чому же не вернутысь? Сомка твого вже бисъ излызавъ—не бійсь, не выкрутытця зъ Запорозькыхъ лапъ! дакъ кому жъ бильшъ, якъ не Кырылу Турови, достанетця Череванивна? Може, думаешъ, тоби zostавлю? Найшовъ дурня!“

И помчавсь изъ своею ватагою къ Гвынтовчыному хутору.

Оставсь Петро якъ остуженый. А Черевань соби стойить, мовъ сонъ йому снятця. Тарась Сурмачъ давно вже одъйихавъ. Якъ ось — Васыль Невольныкъ съ киньмы. Упавъ Петро на коня и полынувъ за Запорозцями; якъ тутъ йому назустрічъ старый Шрамъ.

„Куды се ты мчыся, сынку?“

„Тату! зновъ Запорозци хочуть ухопыть Череванивну!“

„Покынь теперь усихъ Череванивенъ, сынку!“ каже понуро Шрамъ. „Нехай хапають кого хотя. Рушай за мною; намъ тутъ нема бильшъ дила: закльовала ворона нашего сокола!“

Ничого й казаты Петрови. Пойихавъ за пан'отцемъ,

похылывши голову, а сердце, ты бѣ сказавъ, на-двое розризано!

Ажъ ось гукает Черевань: „Бгатику! постривай, дай хочъ подывытысь на тебе“.

Зупынывся Шрамъ.

„Де се ты, бгате, бувъ у сю заверуху?“

„Що про те пытаты, чого не вернешъ?“ каже Шрамъ. „Прощай! намъ никола“.

„Та постривай бо! Куды жъ вы оце? Ну, бгате, отъ я й на ради съ тобою бувъ,—бодай ниhto вже не диждавъ такъ радуваты! що жъ исъ того выйшло? тилько боки потрутылы, та одынъ розбышака трохи не вколошкавъ. Щожъ мини ще звелышъ чыныты?“

„Шкода вже теперъ напои праца, брате Михайло!“ каже Шрамъ. „Йидь соби зъ Богомъ до Хмарыща. Скажуть, мабутъ, швидко й уси аминь“.

„А не будешъ же мене бильшъ узываты Барабашемъ?“ пытае Черевань.

„Ни, каже Шрамъ: „Барабашивъ теперъ повна Украйна“.

„Йий-Богу, бгате, я крычавъ *Сомка* такъ, що трохи не луснувъ! Охъ, у нещаслыву годыну, бгате, мы выйихалы съ Хмарыща! Якъ-то моя Леся почеу про сю раду? Пидождить же! куды жъ оце вы, бгатци?“

„Куды мы йидемо“, одвитуе Шрамъ, „тамъ тоби не буваты“.

„Та по правди сказавшы, бгате, я й не хочу. Добре й пидъ Ниженемъ огрилысь. Ось до якого часу блукаю не обидавшы. А бидолаха Сомко! що то винъ теперъ?“

„Ну, йидь же соби обидаты“, каже Шрамъ; „намъ нѣколы. Прощай“.

„Прощайте й вы, бгатици! та зайиздить упоравшысь у Хмарыще: вдарымо, може, ще разъ лыхомъ объ землю“.

„Ни, вже!“ одвитуе Шрамъ, „теперь про насъ хиба тилько почуешъ. Прощай на-вики!“

Да й обнялысь обое першъ изъ Череванемъ, а потимъ и зъ Васылемъ Невольныкомъ. Петро щыро стыснувъ Череваня прощаючысь; а той — мовъ догадавсь, да й каже: „Ой, бгатику! чи не лучше бъ було, якъ-бы мы не ганялысь за гетьманами?“

Съ тымъ и розъйихалысь. Шрамъ повернувъ на Козелецькый шляхъ; Черевань изъ Васылемъ Невольныкомъ вернувъ до своякового хутора. Васыль Невольныкъ утыравъ рукавомъ слёзы.



Глава шиснадцата.



Бруховецький тымъ часомъ бенкетовавъ у Ничени. У ту бо нещаслыву годину справи такъ лучылось, якъ мовывъ Галка: „Де крычать, а де спивають; де кровъ иллють, а де горилку пьють“. Коло Бруховецького сыдыть за столомъ князь Гагынъ изъ думными дяками, —люде поважни, що не зъ гайдамаками бъ йимъ бенкетоваты; такъ отъ же золото того наробыло, що безбожный харцызяка ставъ йимъ у повази, а щыра душа мусыть погыбаты! За золото не звонтпылы опукаты свого Царя, що давъ йимъ у всьому виру; не звонтпылы черезъ того Иванця наготовыты кривавыхъ бучъ своимъ землякамъ изъ нашимъ безталаннымъ людомъ. Кто жъ бо того не знае, скилько описля розлыто на Вкрайини крови черезъ Иванцеве лукавство да черезъ несыту хтывость Московськихъ воеводъ?

Гуляе князь Гагынъ изъ Бруховецькымъ, исповняють червонымъ выномъ кубкы, бенкетують на людське безголовье. Скризь, и въ свитлыцахъ у Колодія и на подвирьи, сыдыть по-за столамы Городова козацька старшына зъ Запорозцями: усе то тыйи, що нышкомъ поякшались изъ Нызовцями да, рады свого панства, запродады Сомка Иванцеви. Невирни души! теперь уже



А Бруховецкий тымъ часомъ бенкетувавъ у Нижени. (Ст. 218).

иншому й трунокъ не лизе въ пельку, иншому такъ тяжко, якъ тому Іуди; да вже нема вороття — треба брататця зъ розбышаками! А тыйи окаянныйи сыдять за столы въ чужыхъ кармазынахъ, що де на якыхъ и не сходятьця, пють горилку якъ воду, хвалатця такымы добрымы вчынкамы, що ажъ морозъ иде по-за спыною; крыкъ, галасъ счынылы несказанный. Дывуетця князь, поглядаючи на такую компанію, и пытаетця въ гетьмана: „Чи въ васъ у Сичи знай такъ бушуют на бенкетахъ?“

А одынъ бурлака перебивъ гетьмана да й каже:

„Въ насъ, князю, у Сичи то и норовъ, хто Отче нашъ знае; Якъ, у ранци вставшы, выметця, то чаркы шукае.

Чи чарка то, чи кившъ буде, не глядыть перемины, — Гладко пють, якъ зъ лука бють, до ночной тины“.

Якъ же почалы росхапуваты по кышеняхъ мищанське добро, то князь и соби звонтпывъ, щобъ його ще гиршъ, нижъ на ради, не потрутылы; да, скончывшы обидъ, заразъ и попрощавсь изъ новымъ гетьманомъ. Бруховецькый провивъ його ажъ за ворота.

Провивъ князя за ворота, ажъ тутъ йому назустрічъ двое дидивъ Сичовыхъ, — ведутъ за шыяку якогось сиромаху братчыка. Такъ якъ отъ часомъ двое вовкивъ попадутъ пидъ селомъ необачню свыню да, взявшы зъ обохъ бокивъ за уши, ведутъ у пуцу на росправу: такъ тыйи диды вельы бидаху Запорозця черезъ базарь, зозыраючи гризно съ-пидъ сывои щетыны.

„Де се вы, батькы, блукалы, що й не обидалы вкупи?“ пытае Иванецъ.

„Та отъ бачъ!“ кажуть, „за цимъ ледащомъ и обидъ утерялы“.

„Що жъ винъ таке?“

„Эге, що! тутъ наробывъ такого сорому товариству, що й казаты языкъ не ворочаетця. Унадивсь дьяволивъ сынъ до ковалыхы. У Гвынтовки коло хутора коваль живе, дакъ винъ туды и внадывсь“.

„Такъ оце вы його й піймалы на гарячому вчынку!“

„Спапалы“, кажуть, „пане гетьмане, якъ ката надъ саломъ. Уже намъ давно до ушей донесено, що прытьмомъ Олекса Сенчыло скаче въ гречку. „Э, пострывай „же“, кажемо, „гаспедський сыну! мы жъ прысочымо „тебе!“ та вже ото й чыгалы його, не спускалы зъ очей. Що жъ? тутъ добри люде на ради гетьмана обирають, а винъ ледачий до ковалыхы. А мы зъ братчыкомъ назырцемъ. „Одчыны!“ Не одчыняе. „Одчыны!“ Не одчыняе. Мы двери вывалылы, ажъ винъ, поганецъ, тамъ, якъ той кнуръ у берлози!“

„Що жъ вы оце думаете зъ нымъ чыныты?“

„А що жъ бильшь, якъ не кыямы? Та вже сього не такъ, якъ Кырыла Тура! сьому вже треба такъ боки нагрить, щобъ не диждавъ бильшь рясту топтаты!“

Кругомъ Запорозци, якъ тыйи гусаки, повытягувалы шыйи; слушають, що гетьманъ скаже. А гетьманъ повивъ кругомъ якось лукаво очыма.

„Ударыть“, каже, „въ раду“.

Отъ и почалы оклычныкы гукаты по базару; а середъ базару ставъ коло стовпа довбышь, да й почавъ быты въ бубны. А братчыкы, такъ якъ хорты на поклыкъ вивчаря, той звидты, той звидси, поспишалы на раду. Тяглось туды й Городове козацтво. Якъ-же назбиралась йихъ купа чи-мала и зробылы судне колесо, и вси диды сталы въ первій лави, похылывшы тяжкыйи

одъ думокъ головы, тогда й гетьманъ зъ вельможною старшыною выйшовъ зъ бенкетного двору. Отъ и ставъ на своему гетьманському мисьци, пидъ бунчукомъ и корогвою, и вщухнули вси, слушаючы, що казатымутъ старійши. Якъ ось, тилько що коповый дидъ, батько Пугачъ, выступывши напередъ, хотивъ кланятысь на вси боки до раднього слова, ажъ Иванъ Мартыновичъ звеливъ ударыть у срибни Сомковы бубны, и прынявъ самъ таке слово;

„Панове полковныкы, осаулы, сотныкы, и вся старшына, и вы, братчыкы Запорозькыйи, и вы, козаки Городовыйи, а найбильшъ вы, мои Нызови диткы! до васъ теперь оберну я слово, а вся рада нехай послухае й розсудыть. Якъ заохочувавъ я васъ изъ собою на Вкрайину, на волю й на роскопи, такъ чи вже жъ я зло вамъ мыслывъ? чи вже я васъ думавъ кыямы замистъ паляныць годуваты? Охъ, Боже мій мылий! сердца свого вколупывъ бы я та давъ своимъ диткамъ; а тутъ ось сывыи головы Сичовыйи знай кыйи та кыйи вымагають. И за що жъ мусыть погыбаты хочъбы й оцей бесталаный Олекса Сенчыло? (а Олекса Сенчыло стойить посередъ колеса). За те, що трапылось, може разъ на вику, вскочыты въ гречку! Якый же його бисъ утерпыть, ходючы посередъ спашу? Хиба въ Запорозця душа зъ лопуцька, не хоче того, чого й людська? Добре въ Сичи за се караты, а тутъ намъ черезъ жинокъ швыдко доведетця перевесты всихъ братчыкывъ. Якъ вамъ здаетця, панове молодци, чи правду я кажу, чи ни?“

„Святу правду, пане гетьмане! святу правду!“ загулы кругомъ Запорозци, якъ изъ бочки.

„А вамъ якъ здаетця, батькы?“ пытаетця въ дидивъ.

А диды стоять, понурывши головы, та й не знаютъ, що йому й одвитоваты. Довгенько думалы сывийи оселедци, довгенько одинъ на одного зглядувалы, кываючы головою, дали выступывъ зновъ напередъ батько Пугачъ да й каже: „Бачымо, бачымо, вразькый сыну — дармо, що ты гетьманъ — до чого мы въ тебе дожылыся! Убравъ есы насъ у шоры якъ самъ схотивъ! Вывезлы мы тебе на своихъ старыхъ плечахъ у гетьманы, а теперъ ты вже безъ насъ думаешъ Украйиною орудоваты! Недовго жъ поорудуешъ! я тоби кажу, що недовго! Колы взявсь брехаты по-собачы, то й пропадешъ якъ собака! я тоби кажу, що пропадешъ якъ собака!“

„Годи лыпъ, батьку!“ крыкне Бруховецькый. „Чого се роспустывъ морду, якъ халяву? Та се не Сичъ: тутъ тоби гетьманъ не свій братъ!“

„Отъ яка намъ честь за нашу працю!“ кажутъ диды. „Тымъ-то добре казано намъ у Сичи: „Эй, не „слушайте, батькы, сього ледащыци: пидвезе винъ вамъ „Москаля!“ А мы такы не понялы виры, мы вповалы, що ось не мовъ бы то Господь поможе й на Вкрайини завесты Запорозьки порядкы!“

„О, вы головы цивилыйи!“ каже Бруховецькый, „якыхъ же тутъ сподиватысь порядкывъ, колы Запорозька Сичъ буде середъ жонатого люду? Вы думаете, що и всякому про те байдуже, такъ якъ вашимъ старымъ костямъ; а мы — такъ инше почуваемось.... Не Москаля я вамъ пидвизъ, а роблю все по-правди, що жаденъ братчыкъ на мене не пожалуется. На Сичи, посередъ глухого степу, треба бурлакуваты, а въ Городахъ, посередъ мыру, — женытысь та господарюваты“.

„А хйба жъ ты“, озвавсь батько Пугачъ, не казавъ намъ, окаянный, якъ цидмовлявъ насъ у Городы: „Ходимо, батькы, зо мною, заведемо свои порядкы по „всй Украйини?“ хйба ты не казавъ, що Сичъ буде Сичцю, а Запорозци будуть судыты й рядыты всю гетьманщину по своимъ звычаймъ?“

„Казавъ“, одвигуе Бруховецькый, „и якъ казавъ, такъ и зробывъ. Самы бачыте, що Запорозци теперъ перши паны на Вкрайини: понаставлявъ я йихъ сотынкамы й полковныкамы; судытымуть и рядытымуть воны по Запорозькыхъ звычайхъ усю Вкрайину. Нема вже й теперъ ни въ мищанына, ни въ мужыка *се мое, а се твоє*: усе стало обще; козакъ усюды ставъ господаремъ, якъ у себе въ кышени. Чого жъ вамъ ище хочетця? щобъ я за дурныцю бывъ кыямы козака? Ни, сього не буде: я своимъ диткамъ не ворогъ“.

„За дурныцю!“ кажуть диды. „На чимъ держытця Сичъ и славне Запорожже, те повернувъ ты на смихъ!“

„Нехай соби й держытця, колы йому такъ до смаку. Мы мижъ людьмы будемо жыты по-людськы, а кому въ насъ не понутру, той нехай иде на Сичъ йисты сушену рыбу зъ сыривцемъ“.

„Мы такы й пйдемо, гаспедивъ сыну!“ каже батько Пугачъ, „ты насъ не выпыхай колиномъ (Тилько добре памятай, що брехнею свить пройдешь, та назадъ не вернешся. Плюйте, братци, на його гетьманство! ходимо до своихъ куренивъ! Гей, диты, хто за намы?“

Сичови батькы думалы, що такъ и высыпле козацтво на йихъ оклыкъ; ажъ козаки мовчкы мовчять да одынъ за одного тулятця.

„Хто за намы?“ поклыкне ще разъ батько Пугачъ.

„Кому любо зъ нечестывымъ пройдысвитомъ у грѣхахъ погыбаты, заставайсь тутъ; а хто не хоче скаляты золотой славы своеи, той гайда зъ нами за Порогы!“

Тилько жъ и за другимъ разомъ ниhto а ни зъ мисьця.

„Такъ вы, бачу, уси однимъ мыромъ мазани!“ каже тогда батько Пугачъ. „Пропадайте жъ, ледащыци! Щобъ васъ такъ щастя-доля покынула, якъ мы васъ покыдаемо! Пьфю! плюю й на той слидъ, що топтавъ исъ палыводамы! Плюйте й вы, батькы“, каже своимъ товаришамъ; „а на прощанне скажемъ сьому Иродови, чого мы йому бажаемо: воно жъ йому й не мынетця“.

Отъ и почалы диды одынъ за однимъ выходить съ колеса. И заразы первый, обернувшысь, плюнувъ на свій слидъ да й каже: „Щобъ же тебе побывъ не-свитськый соромъ, якъ ты нашу старисть осоромывъ!“

И другой плюнувъ да й каже: („Щобъ на тебе образы падалы!“)

И третій: („Щобъ тебе пекло та морыло! щобъ ты не знавъ ни въ день, ни въ ночи покою!“)

И четвертый: („Щобъ тебе окаянного, земля не прыняла!“)

И пятый: „Щобъ ты на Страшный Судъ не вставъ!“

И выйшовшы зъ раднього колеса, забрамы свои кони съ чурамы да й рушылы до Нызу.

А Иванцеви того було й треба. Посмівшысь доволы зъ своимы розбышакамы, каже: „Ну, теперь, братчыкы, намъ своя воля. Одбулы мы дурне мужыцтво, одбулы мищанъ, одбулы й старыхъ дундукивъ. Теперь пийте, гуляйте и веселитесь. А мене щось на сонъ

знемогає. Пійду одпочыну трохи. Петро Сердюкъ, проведи брата, мене до господы“.

Пійшовъ Иванецъ до гетьманського двору въ замокъ, похылившысь на козака; ледви ноги волочыть, що ажъ Нызове козацтво стыха глузовало.

„Пидтоптавсь“, кажуть, „нашъ Иванъ Мартыновичъ“.

„Ище бъ не пидтоптатысь, стилько дила наробывшы!“

„Та, мабуть, и въ головку на радощахъ лышне закынувъ“.

А винъ, клятый, ни одъ праці не втомывся, ни одъ горилкы не выпывся. Його лукавый мизокъ коверзає соби нову думку: якъ-бы того безталанного Сомка до посліда-годыны допровадыты! Плутаючы по дорози ногамы и зажмурывшы очи якъ китъ, Бруховецькый скрызъ зубы почавъ такъ протывъ своєї думкы закыдаты: („Чи чувавъ ты, братику, щобъ мышъ одкусыла колы голову чоловикови?“)

Засміявсь козакъ: „Се, пане ясновельможный, тилько таку гуторку проложено“.

„Гмъ!“ каже Бруховецькый, „проложено! а съ чогось же то ии взято... Охъ, ноги зовсимъ не несуть! Бража старисть надиходыть. Чи выпывъ чоловикъ кубокъ меду, чи не выпывъ, уже й голова й ноги хочъ поодтынай“.

„Се вы, пане гетьмане“, каже Петро Сердюкъ, „на радахъ такъ уходылысь“.

„Охъ, на радахъ, на радахъ!“ мымрыть Бруховецькый. „Послужывъ я козацтву шырою душею, а якъ-то мини козацтво послужуть!“

„И, пане ясновельможный! про що вы турбуетесь!“ сказавъ козакъ Сердюкъ. „Та мы за васъ уси головы положимо!“

„Головы!“ бурчать Иванецъ. „Було бъ зъ мене й одной головы, якъ-бы хто зумивъ ии положыты, щобъ до-вику не встала“.

Усмихнувся Петро Сердюкъ да й думае: „Пидтоптався, пидтоптався панъ гетьманъ!“

А винъ иде, тяжко ступаючы, справди мовъ пъяный; дали зновъ пробовкне де-яке слово, и все на Сомка наворочуе, чи не догадаеця Сердюкъ; а Сердюкови Петру ще-такы не въ догадъ. Якъ-же почалы вже зблыжатысь до замкового будынку, то Бруховецькый и каже: „Чи бачышь ты, Петро, коло стани, пры самій земли виконце? Тамъ сыдыть у мене вельможный Сомко, що гордувавъ колысь усима, и не було йому ривни на всьому свити. Якъ тоби здаеця се дыво?“

„Дыво велике“, каже Петро Сердюкъ, „ничого сказаты. Служыть вамъ добре фортуна, пане гетьмане“.

„Отъ же я роскажу тоби щось ище дывнйше. Ось слухай лышень, братику, якый мини сонъ сьогодни передъ-свитомъ снывся. Здаеця, йшовъ я пъяный до дому, отъ до сього будынка, й прыйшовъ, и лигъ спаты, и выпавсь, и проснувся ранкомъ, — проснувся, ажъ мини кажутъ, що въ-ночи чудо велике створылось: Сомкови мышъ голову одкусыла! Якъ тоби здаеця, Петре? Проты чого сей сонъ мини прыснывся? Колыбъ ты мини сей сонъ отгадавъ, знавъ бы я, якъ тоби оддячыты“.

Загадавъ козакъ, дали помовчавшы й каже: „Що жъ, пане гетьмане? се бъ то проты того, щобъ Запорожець перекрынувся пацюкомъ?“



Визьмы, надинь, нигде тебе не зупынять. Шо жъ ты одступашь, наче одь
лыхого зилля! (Ст. 227)

Обнявъ Иванецъ Петра Сердюка за си слова. Дали, звійшовшы до свитлыци, знявъ зъ руки шырозлотый перстень да й каже: „Оця каблучка всякого переверне въ такого пацюка, що проберетця хочъ скрызъ дванадцятро дверей, куды треба. Визьмы, надинь, нигде тебе не зупынять. Що жъ ты одступаешъ, наче одъ лыхого зилля!“

„Того одступаю“, каже Сердюкъ Петро, „що, хочъ Нызовецъ на всяке характерство здатень, да за таке, ще зъ-роду въ насъ ниhto не бравсь. Прощай, пане гетьмане! Може, съ хмелемъ и твій сонъ пройде“.

Оставсь Бруховецькый якъ остуженый.

„Э“, каже, „такъ, мабуть, правда сьому, що, кажуть, зъ-роду, зъ-вику козакъ не бувъ и не буде катомъ!“ и почавъ ходыть по свитлыци.

Походывъ, походывъ. „Чортъ знае яки“, каже, „забубоны! Буцимъ не все одынъ бись, чи задавыты яку погань на ради, чи шпырнуты ножемъ пидъ бикъ у глыбци!“

Ще помиркувавъ трохи, ходючы. „Мабуть“, каже, „що не все одно!... Чомъ же ось я самъ не пйду зъ йимъ росправытысь!... Поки Сомко бувъ Сомкомъ, я стававъ на його смилыво, а теперь мене якийсь острахъ бере“...

Зновъ почавъ похожаты мовчкы. „Ка'зна якъ доля чоловика ворочае!“ каже соби. „Мабуть, самъ лыхый мини помогае... А лучче бъ ничего сього не було... Ой, батьку Богдане! не пизнавъ бы ты теперь своего Иванця!... Ворогъ!... и звидкы нечыстый утелющывъ мини ворога!... А вже теперь шкода зупынятысь....

вывернетця... добре, що поборовъ... два коты въ одному мишку не помырятця.... Чомъ же оце нема въ мене сылы до закинчанья? Була сыла свить на свій ладъ повернуты, а теперь ось шпырнуть ворога ножемъ боюсь.... Що жъ, якъ на Москви зроблять не по-нашому?... Гроши грошима, бояре боярамы, а Царь — душа праведна“....



Глава симнадцята.



Лизкуе соби ледачый Иванецъ, ходючы по свитлицы, ажъ ось увійшовъ вартовый: „Якыйсь чоловикъ мае про негайне дило ясновельможного сповистыты“.

Дозволивъ гетьманъ позвать передъ себе. Увійшло якесь опудало. На голову насунувъ кобенякъ, тилько очи выдно, а самъ у шырокій семрязи; на спыни чы-малый горбъ. Бруховецькый самъ не знавъ, чого злякавъ; такъ уже гришна душа його тревожылась.

„Хто ты такый?“

„Той, кого тоби треба.“

У Йванця пійшовъ морозъ по-за спыною.

„Кого жъ“, каже, „мини треба?“

„Тоби треба такого, щобъ заворожывъ на впокій гетьманщину, бо онъ усюды, кажуть, куплятця кругъ панивъ люде та komponують, якъ-бы Сомка на волку вызволыты; та й Ниженськи мищане шепотять про Сомка, якъ Жыды про Мусія“.

„Що жъ ты за чоловикъ?“

„Я чоловикъ соби мызерный—швецъ изъ Запорожжя, та якъ пошыю кому чоботы, то вже другихъ не треба буде“.

„Якъ же ты заворожышь гетьманщину?“

„А такъ. Пиду тилько та роскажу Сомкови твій сонъ; заразъ усе и втыхомырытця“.

„Дьяволе!“ скрыкнувъ Бруховецькый, „звидки ты мій сонъ знаешъ?“

„Одъ усатого пацюка знаю.“

„Буде жъ тому пацюкови!“

„Угамуйсь, пане гетьмане, на сю годыну; лучше подумай, якъ одъ свого ворога скорышъ одкараскатысь, щобъ черезъ тебе та й усимъ намъ не було—сьогодни панъ, а завтра пропавъ“.

Довгенько помовчавъ Бруховецькый.

„Одкрый“, каже, „голову; я подывлюсь, чи не нечустый справди до мене прысусижуетця“.

„Нечыстому багацько дила й по манастыряхъ“, одвитуе той, да й одкынувъ видлогу.

Бруховецькый ажъ одшатнувся. „Кырыло Туръ!“

„Цыть, пане гетьмане! буде й того, що ты знатымешъ, хто бувъ Сомкови катомъ“, каже Кырыло Туръ, и накрывся изновъ видлогою.

„Не вже ты оце визьмесся за таке дило?“ пытае Бруховецькый.

„А чому жъ?“ каже. „Хиба въ мене руки не людськи?“

„Ты жъ, кажуть, бувъ трохи свій изъ Сомкомъ!“

„Такъ якъ чортъ исъ попомъ. Я вже давно на його чыгаю, и въ Кыиви—самъ здоровъ знаешъ—трохи не доказавъ йому дружбы. А наши дундуки подякувалы мини кыями. Оттака въ свити правда!“

„За що жъ ты на його злыся?“

„Я то вже знаю, за що! У мене своя прыключка, а въ тебе своя. Я въ тебе не пытаю, не пытай и ты

въ мене. Не гай мене, пане ясновельможный, та колы хочешъ, щобъ я тоби подякувавъ за сотныцькый урядъ, що настановивъ мене сотныкомъ, скажи мини тилько, якъ до його добратця“.

„Отъ якъ“, каже. „Визьмы ты оцей перстень. Пропустять тебе зъ нымъ, куды схочешъ“.

„Гарна каблучка“, каже Кырыло Туръ. „Ще й сагайдакъ изъ стрилкою на печатн выризано“.

А Бруховецькый: „Се, колы хочешъ знаты, той самый перстень, що покойный Хмельныцькый знявъ у сонного Барабаша. Я самъ йиздывъ изъ сымъ знакомъ и въ Черкасы до Барабашыхы Покойный гетьманъ подарувавъ мини його на памятку“.

„Эге!“ каже Кырыло Туръ, „що-то зъ доброй руки подарунокъ! такъ отъ винъ на добро и здався“, да й выйшовъ изъ свитлыци.

Иванецъ самъ провивъ його за двери, а винъ йому шепче: „Лягай спаты, не турбуйсь. Передъ свитомъ прыснывсь тоби сонъ, передъ свитомъ и справдытця“.

Пийшовъ Кырыло Туръ похылывшысь, у свой видлози съ горбомъ. Нихто бъ не пизнавъ теперъ його молодецькой ходы, ни высокого стану. Такъ соби наче горбатый дидъ. Уже на двори стемнило. Ось добираетця винъ до Сомковой глыбки. Заразъ у надвирныхъ дверей стоитъ козакъ изъ ратыщемъ. Наставивъ супротивъ Кырыла Тура ратыще: „Геть!“

„А се що?“ каже йому потыху Кырыло Туръ, показуючы на руци перстень.

Скоро взривъ сторожъ гетьманськый знакъ, заразъ и одчынивъ двери.

За тымы дверыма ще двери. Изновъ коло дверей козакъ... Каганчыкъ стойить у стини на виконци. И той пропуствывъ мовчкы, якъ побачывъ перстенъ. За тымы двермы ще трети двери, и третій козакъ пры дверяхъ сторожемъ. Узявъ Кырыло Туръ у його каганчыкъ и ключъ отъ глыбки. „Иды“, каже, „до своего товариша“. Я буду сповидаты вязня, дакъ, може, таке почуешъ, що лучше бъ тоби на сей часъ позакладало“.

А той йому: „Та я й самъ радъ звидси задалегидь убратьця. Знаю добре, на яку прыйшовъ ты сповидь“.

„Ну, колы знаешъ, то й лучше“, каже Запорожець. „Гляды жъ, не входь сюды до самого ранку. Винъ писля сповиди засне“.

„Засне писля твоеи сповиди всякий!“ бурчавъ, зачыняючы двери, сторожъ.

Винъ же выходить у одни двери, а Кырыло Туръ входить у други. Увійшовъ и заразъ заперъ двери. Гляне, посвичуючы по глыбци каганцемъ, ажъ у кутку сыдыть на голому ослони Сомко. Однимъ зализомъ за поперекъ його взято и до стини ланцюгомъ прыковано, а други кайданы, на ногахъ замкнути. У старій подраній сирячынi, безъ пояса и безъ сапгянцывъ. Усе харцызякы поздыралы, якъ узялы до вязення; тилько вышываной срибломъ да золотомъ сорочки посовистылысь изниматы. Вышывала ту сорочку небога Леся; и по ковниру, и по пазуси, и по ляхивкахъ шырокихъ рукавивъ повыпысовала голубонька срибломъ, золотомъ и блакытнымъ шовкомъ усяки квиткы й мережкы; а Череваныха подаровала ии безталанному гетьманови на памятку гостьовання въ Хмарыщи. Такъ отся тилько



Хиба жъ тоби не страшно вмираты? (Ст. 233).

сорочка зо всього багатства йому осталась; и чудно и жалисно було бѣ усякому дывытысь, якъ вона у тій мизерній глыбци исъ-пидѣ старой сирячыны на гетьманови сыяла!

Постановивъ Кырыло Туръ на викни каганчыкъ, а самъ сблызвсь до понурого вязня. Той дывытця на його мовчки. Доставъ Запорожець изъ-за халявы ножаку и показуе Сомкови! Той извивъ до неба очи, охрыстывсь: „Що жъ?“ каже, „робы, що тоби сказано робыты“.

А Кырыло Туръ сыпкымъ, гугнывымъ голосомъ: „Хиба жъ тоби не страшно вмираты?“

„Може бѣ, мини“, каже Сомко, „й страшно було, якъ-бы не було напысано: *„Не убойтесь отъ убывающихъ тило, души же не могущыхъ убыты“*...“

А Туръ каже: „Та се ты такъ мизкуешъ, покы не почувъ зализа за шкурою. Осъ ке лышъ, я трошки ризону по грудыни“...

„Адова утробо!“ крыкне тогди Сомко, „невже тоби мало моеи крови? ты ще хочешъ навтипатысь моими мукамы! Бачу по твоему голосу, що ты, якъ паскудный червякъ, живучы пидъ землею, звыкъ иссаты кровъ Хрыстыянську! Такъ упывайся же, гадыно, у мое тило! не почувешъ ты, пакостный, якъ Сомко стогне!“

„Добре, ей-Богу добре!“ каже тогди Кырыло Туръ своимъ голосомъ, ховаючи нижъ за халяву. „Ей-Богу!“ каже, „мини здаетця, що я смыкъ, а вси люде скрыпкы: якъ поведу, такъ вони й грають. Не жыття я на свити коротаю, а весилля справляю“.

„Що се!“ каже Сомко, „не вже я одъ нудьгы почынаю зъ марою розмовляты? Скажы на имя Боже,

чи справди ты Кырыло Турь, чи се вже моя голова починае съ печали туманиты?*

Запорожець зареготавь. „Ще й пытае! А яка бь же шельма, опричь Кырыла Тура, пробралась до тебе черезъ тры сторожи? Тилько винь одынъ зачаруе всякого такъ, що й самъ не тямить, що робить“.

„Що жь ты мини скажешь?“

„А оть що я тоби скажу. Давай лышень минька на одежу, та выходи изь сии пакосной ямки. Тутъ тилько бь гадыни жыты, а не чоловикови. Уподобавь же чортъ знае що! Тамъ тебе пидъ Бугаевимъ дубомъ жде такый же дурень, якъ и я: Паволоцькый пипъ изь попенямъ. Уже вертавь у Паволочъ, думавь, що ты попавь на-викы чорту въ зубы, такъ йихавъ рятуваты Паволочанъ. Тетера, бачъ, пронюхавъ, що тутъ койить супротывъ його Шрамъ, да пронюхавшы и давай тыснуть Паволочанъ — прытьмомъ хоче зруйноваты мисто; такъ йихавъ Шрамъ рятуваты. А я пославъ козака навпереймы: „Пострывай“, кажу, „попе, ще, може, вер- „немо сокола съ клиткы!“ А тутъ и помижъ мыромъ пустывъ таку поголоску, що Сомко вже на воли, такъ куптесъ та ждите гасла. Ты може не знаешь, сыдючи тутъ, що вже розжовавь усякъ харцызяку Иванця. Теперь тилько гукнешь по Вкрайини, дакъ тысяча тысячу попыхатыме та до тебе бигтыме. Пиднимутця й тыйи, що не булы на ради; бо на раду позлазылась до Йванця тилькы сама погань зь Украйины, а добри люде не понялы гольтяпакамъ виры. Тымъ-то Иванецъ исъ поганцямы таке лыхо и вкойивъ! А зь Запорожжя тежъ тилькы сами палыводы на Вкрайину выйшлы, а що засталось доброго, те все теперь за тебе, тилькы

озвесся, руку потягне, и допомогу дасть. Що жъ ты мовчки слушаешъ, мовъ я тоби казку кажу?“

„Того слушаю мовчки“, одвитуе Сомко, „що зъ сеи бучы пуття не буде. Багато розливъ Хрыстыянської крови Выговський за те нещасне панство да гетьманство; багато й Юрусь погубывъ землякывъ, добываючысь того права, щобъ надъ обома берегами гетьмановаты: не-вже жъ не уймаеця плысты по Вкрайини кровъ Хрыстыянська ни на часыну? Отсе я ще почну одного супротивъ другого ставыты, и за свое право людську кровъ точыты! Бо Йванецъ съ козаками стойть теперь мицно; щобъ його збыты, треба хйба всю Вкрайину надполовыныты; а на вищо? щобъ не Бруховецький, а Сомко гетьмановавъ!“

„Отъ же ни, колы хочешъ знаты!“ каже Кырыло Туръ, „не на те, щобъ Сомко гетьмановавъ, а на те, щобъ правда узяла верхъ надъ кривдою!“

„Визьме вона верхъ и безъ насъ, брате Кырыло. Може, се тилько на науку мырови попустывъ Господь Украйину въ руки харцызьякамъ. Не можна, мабутъ, инше, якъ тилько горемъ да бидою, довесты людей до розуму“.

„Такъ оце ты зрикаеся свого гетьманського права?“ пытае Кырыло Туръ.

„А що жъ бы ты робывъ? Уже колы въ мене булы й другы й прыатели, булы й полкы й гарматы, да не благословывъ мини Богъ властвоваты; *друзи мои и искреннии мои* оддалече мене сташи и чуждахуся и мене моего: такъ чого жъ мини теперь супротивъ своей доли пручатысь?“

„Старый Шрамъ не такъ дума“, каже Кырыло Туръ.

„Думавъ и я гордо да несыто, помы смерть не заглянула мини въ вичи“.

„Ну, дармо“, каже Запорожець, „нехай воно буде соби, якъ хотя; тилько все жъ такы у тебе въ голови восталось, думаю, доволи мозку, хочъ и заглянула смерть у вичи. Ничого тоби ждаты обуха у сихъ ризныцяхъ, колы тоби одчынено настижь двери. На лышь надинь видлогу, та ще оцей персныкъ про-запасъ вивьмы, то пройдешь скрызь огонь и воду“.

„А кайданы?“ спытавъ Сомко.

„Що намъ кайданы? я прызапасъ такой розрывъ-травы, що тилько прытулю, дакъ и къ нечыстому й пороспадаютця. Ке лышь сюды ногы“.

„Пидожды, брате“, каже Сомко, „скажы перше, а ты жъ якъ звидсы выйдешъ?“

„Що тоби до мене? Иды лышень ты, а я найду соби дорогу....“

„Э, ни, мій голубе! сього не буде. Нехай той гыне, на кого Господь показавъ перстомъ Свойимъ! Чужою смертю я воли кувоваты не хочу“.

„Смертю!“ засміявшысь каже Кырыло Туръ; „ка'знае що городыть! Мабуть, тутъ одъ вологосты въ голови тоби завернулось. Може, думаешъ, я тутъ довго сыдитыму? Найшовъ дурня! Ще до схидъ сонця опынюсь на воли....“

„Якъ же ты вырвесся звидси?“

„Якъ? такъ якъ Богъ дасть.... мини вже про те знать. Хиба не чувавъ ты про нашихъ характерныкывъ, що намалюе углемъ на стини човенъ, сяде та й поплыве, неначе по Лыману? А Кырыло Туръ хиба

вже дурнійшій одъ усихъ, щобъ и соби чого такого не выдумавъ?“

„Дивно мини“, каже Сомко, „якъ у тебе достае охоты жартоваты, одважившысь на смерть!“

„Эхъ, пане, мій мылый!“ одвитуе Кырыло Туръ, „хиба жъ уся жызнь наша не жарты? помаже по губахъ медомъ, ты думаешъ: оттутъ - то щастя! ажъ глянешъ — усе одна омана! Тымъ-то й кыдаешъ ии за ни за що. Та що про те балакаты! ну лышъ, давай минька на одежу“.

„Ни, мій голубе сызый, сього не буде!“

„Якъ не буде? такъ оце я передъ Шрамомъ брехуномъ зостанусь? А що бъ же ты сього не диждавъ! Я тилько й радувався, що отъ же — кажу — старый буркунъ побачыть, що й нашъ братъ, Запорожець, не зовсимъ ледащо; а ты въ мене й послидню радисть однаешъ!“

„Не вже оце, щобъ тилько оправдыть Запорожже передъ Шрамомъ?“ пытае Сомко.

„А то жъ якого мини ще биса?“ каже Кырыло Туръ. „Ты ще подумаешъ, що въ мене на уми, якъ тамъ кажуть, отчызна! що отъ бы то вызволю своею головою Сомка, — винъ теперь бильшъ, потрибенъ.... Ка'знае що! Такъ робыть тилько, хто й того не розшолопае, що своя сорочка до тила блыжче. То якъ-бы прыйшлося положить голову за дитей, або-що, такъ се було бъ святе дило, бо сказано; який батько дитей не жалует? Ато пидставъ пидъ обухъ голову за хымеру! Ни, мій добродію, у насъ на Вкрайини такыхъ божевильныхъ не дуже густо! а я жъ хиба выродокъ?“

„Охъ, голово ты моя мыла!“ каже Сомко, „ты и

въ темныцю прынісь міні утиху! Теперъ міні легше буде за правду пострадаты, що правда не въ одного мене живе въ серци, и не загине вона на Вкрайини! Попрошаймося жъ, покы побачымось на тимъ свити!“

Запорожець насупывсь: „Такъ ты справи хочешъ зостатьця у сій ризныци?“

„Я вже сказавъ“, одвигуе Сомко, „що чужою смертю не куплю собі воли; а що разъ сказавъ Сомко, того й по вискъ не нарушыть“.

„Такъ?“ пытае Кырыло Туръ, пыльно дывлячысь Сомкови въ вичи.

„Такъ!“ одвигуе твердо Сомко, дывлячысь на його.

„Будь же проклята оця година!“ каже тогди Запорожець. „Хто въ неи народытця, або зачне яке дило, щобъ не знавъ ни щастя, ни доли! нехай човны топлятця на мори! нехай кони спотыкаютця въ воротяхъ! а якъ кому Богъ пошле чесную смерть, нехай душа вертаетця до мертваго тила! Проклята, проклята одыни и до вику! Прощай, брате мій ридный! не загаюсь и я на симъ мызернимъ свити!“

Обнялысь, и обыдва заплакалы.

Выйшовъ Кырыло Туръ изъ сырои глыбки, скинувъ изъ себе видлогу и швыргонувъ сторожамъ. „Нате“, каже, „вамъ, Иродовы диты, за входъ и виходъ! Знайте, що не катъ Иванцивъ, а Кырыло Туръ, прыходывъ одвидаты праведну душу!“

Изновъ, идучы мимо надвирного сторожа, кынувъ подушку, що була въ його за спыною замість горба: „Визьмы“, каже, „собако, щобъ не спаты на соломи, стережучы неповынну душу!“

И пійшовъ изъ замку. Уси по перстню його пропускали.

Незабаромъ знайшовъ свого побратыма. Той дождавсь його съ киньмы пидъ ветхою дзвинуцею. Побратымъ не знавъ, що було на думци въ Кырыла Тура, якъ оставлявъ винъ тутъ його съ киньмы; бо Кырыло Туръ сказавъ тилько: „Прыйде до тебе чоловикъ и скаже: *Шукай витру въ поли!* такъ сажай його на мого коня и проведы до Бугаевого Дуба, а я вже знатому, де съ тобою злучытысь“.

Смутно було теперъ Кырылови Туру сидать на коня, що для Сомка наготовывъ, а ще смутнійшь йихаты до старого Шрама да розказоваты, що вже Сомко мижъ козацтво не вернетця.

А Шрамъ бедаха жде, не дождетця його пидъ Бугаевымъ Дубомъ на Бабычивци. Загледившы оддалекы двохъ козакывъ, ажъ не встоявъ на мисти, — скочывъ на коня и пидбигъ назустричь. Якъ-же побачывъ, що Сомка немає, то й голову повисивъ. И пытавъ бы, и пытать бойитця, да вже насылу змигъ промовыты: „А де жъ Сомко?“

„А ты справди понявъ мини виры?“ каже Кырыло Туръ. „Оттакъ морочъ людей, то будешъ Запорозцемъ!“

„Кырыло!“ каже Шрамъ, „годи юродствоваты? бо й голосъ тебе не слухае. Колы не вдалось, то хоть скажы, чому?“

„А отъ чому“, каже Запорожець. „Сомко, колы хочешъ знаты, такый же дурень якъ и мы съ тобою. „Чужою смертю воли куповаты не хочу!“ Уже я йому й отчызну, уже я йому й правду пидъ нисъ тыкавъ, а винъ свое та й свое. Сказано — дурному хочъ киль

на голови тешы! Съ тымъ його й покынувъ, — бодай лучче покынувъ свою голову!... Прощай!“

„Що жъ ты теперь думаешъ изъ собою чыныты?“ спытавъ Шрамъ.

„А що жъ? уже жъ бакъ не те, що ты. Жывый жыве гадае.... Оце пойдемо до превражого сына Гвын-товкы та вкрадемо ще разъ Череванивну. Мабуть, ий на вику напысано мойихъ рукъ не мынуты. Махнемъ ажъ у Чорну Гору та й заживемо тамъ, пъячы та гуляючы. Прощайте, прощайте!“

И, вклонившысь низько Шрамови зъ сыномъ, повернувъ коня и полынувъ ись побратымомъ до Гвын-товчыного хутора.

Ажъ ось наздоганяе його Петро Шраменко.

„Чого ще оцей бабський репгяхъ одъ мене хоче?“ каже зупынившысь Кырыло Туръ.

„Кырыло!“ каже Шраменко, „у тебе душа щыра, козацька....“

„А вже жъ не Жыдивсьька“, каже Запорожець.

„Мы йидемо съ пан'отцемъ на смерть у Паволочъ...“

„Боже вамъ поможы: дило не ледаче!“

„Передай одъ мене два слови Череванивни; передай такъ, якъ съ того свиту!“

„Добре“, каже Кырыло Туръ, „передамъ“. А Чорногорцю потыху шепче: „Знаю напередъ: яку-небудь любосну несенитныцю“.

„Скажы ий, що й на тымъ свити ия не забуду!“ каже Петро.

„Добре, скажу“.

„Ну, прощайте жъ, братци, на-вики!“

„Прощай, брате!“ каже Запорожець, „та не забувай и насъ на тимъ свити“.

Розъйхалысь. Тогда Кырыло Туръ засміявсь да й каже: „Якъ-то мы тымъ свитомъ завчасу порядкуемо! а тамъ, може, чортяки такъ прыпечуть, що й уси любоци къ нечыстому зъ головы вылетять!“



Глава вѣсімнадцята.



Теперь бы то отсе треба намъ йихаты слидомъ за Шрамомъ и його сыномъ, и все, що зъ ными діялось, по ряду оповидаты; тилько жъ, якъбы почавъ я выставляты въ картинахъ да въ речахъ, якъ той Тетера облигъ Паволочъ, якъ хотивъ достать и выстнать усе мисто за турбацію супротывъ гетьманьскои зверхности, и якъ старый Шрамъ головою своею одкупывъ полковый свій городъ; то бъ не скоро ще скончывъ свое оповиданне. Нехай же остаецця та исторыя до иншого часу, а теперь скажемо коротко, що Шрамъ Паволоцькый, жалуючы згубы Паволочанъ, самъ удавъсь до Тетери и принявъ усю выну на одного себе. И Тетера окаянный не усумнивсь його, праведного, якъ бунтовныка, на смерть осудыты, и осудывшы повеливъ йому середъ обозу вѣйськового голову одтяты. Такъ зогнавши зъ свиту своего ворога, удовольнывъсь, давъ Паволочи впокій и одыйшовъ изъ вѣйскомъ до своего столечного миста.

Того жъ року, вступаючи въ осинь, о святому Симеони, одтято голову й Сомкови зъ Васютою, у городи Борзни, на Гончаривци. Бруховецькый доказавъ такы своего, хоть послы й прынявъ слушну кару одъ гетьмана Дорошенка: пропавъ пидъ кыямы собачою смертю.

Такъ-то той щырый козарлюга и пипъ, Иванъ Шрамъ Паволоцькый, и славный рыцарь Сомко Переяславскый, не вравдышы ничего супротивъ лыхой Украинської доли, поляглы одъ беззаконного меча шановными головами. Хоть-же воны и поляглы головами, хоть и вмерлы лютою смертю, да не вмерла, не полягла йихъ слава. Буде йихъ слава славна помижъ земляками, помижъ литопысами, помижъ усима розумными головами.

Туть бы мни й скончыты свою историю про ту чорну раду, про ту Запорозьку оману; да хочетця ще озырнутысь на тыхъ, що послы той биды осталысь жывы на свити.

Одправывшы по пан'отцевы похороны, поплакавши да пожурывшысь, Петро не довго загаивсь у Паволочи. Думавъ бувъ ийти на Запорожжя и распродавъ усе свое добро, да якось и звернувъ мысли на Кывивъ. Опынывся козакъ коло Хмарыща. Звонтпывъ однакъ, да й дуже, изблызывшысь до хутора. Ворота булы не прычынени; не стеригъ ихъ Василь Невольныкъ. „Мабуть, никто не вернувсь у Хмарыще!“ подумавъ Петро; сердце заныло. Иде до хаты. Квиткы коло хаты позасыхалы и позаросталы бурьяномъ. Якъ ось чуе — наче хто спивае стыха. „Боже мій! чый же се голосъ?“

Бижыть у хату, одчынывъ двери, ажъ такъ! и Лєся, й Череваныха обыдвы въ пекарни.

„Боже мій мылый!“ крикнула Череваныха, сплеснувши руками.

А Петро, якъ ускочывъ у хату, то й ставъ у порога, якъ укопанный. А Лєся якъ сыдила на ослони

коло стола, то такъ и осталась, и зъ миста не зворухнетця. Да вже Череваныха почала Петра обниматы; тилько вже теперъ прыгортала до себе зъ щырымъ сердцемъ, якъ ридного сына. Петро теперъ уже сміло пидступывъ до Леси, обнявъ и поціловавъ ія, якъ братъ сестру; а вона ажъ сливоньками вмылась. Довтенько зъ радощивъ не змогли до себе прыйти; плакали, сміялись, роспытывали, и одно одному перебивали.

Якъ ось—у двери сунетця Черевань. Насылу переступывъ черезъ поригъ отъ радости; тилько „бгатику!“ да й кынувъ до Петра, розставывшы руки; обіймае, цілуе и хоче оказаты щось, и все тилько „бгатику!“ да й замовкне.

Якъ-же вже трохи вгамовалысь, тогда Череваныха посадила Петра на лавицѣ, и сама села коло його (а Леся въ другого боку, и обидви держалысь йому за руки) да й каже: „Ну, теперъ же роскажи усе по ряду, Петрусю, щобъ мы знали, якъ отсе тебе Богъ спасъ одъ смерты. Намъ сказано, що ты вже певно отдавъ съ пан'отцемъ Богови душу“.

А Черевань мостывсь, мостывсь, якъ бы бльжче було слухаты; сидавъ и коло жинкы, и коло дочкы, такъ усе далеко, и треба голову на бикъ нагынаты, щобъ на Петра дывытысь; дали взявъ да й сивъ навпротывъ його доли, пидобгавшы тидъ себе поты. „Ну“, каже, „бгате, теперъ роскажуй, а мы слушаемо“.

Отъ и почавъ Петро усе оповидаты, якъ було въ Павлочи. Не разъ прыймалысь усе плакаты. Якъ-же дойшло до прощання съ пан'отцемъ, то Черевань такъ и зарумавъ, да одною рукою слёзы втырае, а другою Петра прыдержуе, щобъ не казавъ дальшь, помы

переплаче. А про Череваныху да про Лесю що вже й казати? Уси злылись у одно серце и въ одну думу; и тяжко було всимъ и якось радисно.

„Роскажить же“, каже Петро, „и вы теперь, якъ вы выкрутылись одъ Запорозця да добрались до Хмарыща?“

„Ни“, каже Череваныха, „хйба винъ выкрутывъ насъ изъ биды, а не мы выкрутылись одъ його. Братикъ мій узявъ насъ бувъ добре въ свои руки. Того жъ дня въ-вечери, якъ була та безталанна рада, и почавъ заразь сватать Лесю за ледащыцю Вуяхевыча. Якъ ось смеркомъ йиде Кырыло Туръ, а за нымъ десятеро Запорозцивъ, у двирь. Показавъ братови якыйсь перстенъ: „Оддавай“, каже, „мини Череваня зъ усимъ його кодломъ“. — „На що? куды?“ — „Звеливъ гетьманъ забраты да вевты просто до Гадяча. Мабуть“, каже, „Череванывни на роду напысамо буты гетьманшею“.

„Такъ, такъ, бгатику!“ каже Череванъ, „я вже думавъ, що справди доведетця зробытысь собачымъ родычемъ“.

„Сталы просыты“, зновъ веде ричъ Череваныха, „сталы просыты Кырыла Тура, щобъ не губывъ невыинной души — куды! и не дывытця. Запрягли кони въ рыдванъ, посадылы Васыля Невольныка за погоняча и помчалы насъ изъ двора Мы плачемо. А Кырыло Туръ тогди: „Не плачте, курячи головы! вамъ треба радуватись, а не плакаты: не въ Гадячъ я одвезу васъ, а въ Хмарыще“. Мы давай дяковаты, а винъ: „Що мини съ такой дякы? Тоди мене подякуете, якъ на рушныку зъ вашою кралею стану“. Мы зновъ такъ и похололы: изъ одного лыха да въ друге! И такы

справди думалы, що въ його ся думка въ серци. Да вже, якъ привезлы насъ въ Хмарыще, тогда вразькый Запорожець сміетця та й каже: „А вы справди думалы, „що я такый дурень, якъ яке Шраменя! Нехай вамъ „цурь, вражымъ бабамъ! одъ васъ усе лыхо стае на „земли! Лучче зъ вами зовсимъ не знатысь! Нехай „лышень зварять намъ вечеряты: намъ ище далека „дорога“.

„Куды жъ се йимъ була далека дорога?“ спытавъ Петро.

„У Чорну Гору, бгатику“, каже Черевань. „До-державъ такы Кырыло Туръ свого слова, що все хвалывсь тою Чорною Горою. Я про все роспытавъ, бенкетуючы зъ ными за вечерю. Попылысь вразьки Запсрозци такъ, що й повыверталысь у садку на трави. Думавъ, що ще й завтра будуть у мене похмелятысь; устану вѣранци, ажъ йихъ и слидъ простыгъ: такый народъ! Такъ росказувавъ Кырыло Туръ за вечерю: „Я“, каже, „зъ самого першу хотивъ направыты брат-чыкивъ на добру дорогу, щобъ Сомка съ гетьманства „не спыхалы, такъ що жъ, колы Иванцези самъ чортъ „помогае? Уже якими я шляхами до Сичовой громады „не заходывъ! такъ ни, та й годи! „Отъ“, каже, „ба-„чучы, що вже тутъ чортяка заварывъ соби кашу, що „вже Сомкови и въ сто голивъ помощи не выдумаешъ, „махнувъ рукою, та, щобъ не бачыты того лыха и не „чуты про його, и хотивъ ото зѣйхаты зъ Украйины. „Такъ отъ же“, каже, „нечыстый пидсунувъ пидъ „нисъ вашу кралю. Теперь уже спивайте“, каже, „Сом-„кови вичнюю память: не сьогодни, такъ завтра поляже його золота голова“ ... Та чи піймешъ ты, бгатику, виры?

якъ розказувавъ про Сомка, то наче и всмихаетця вразькій Запорожець, а сльоза въ ложку тилько капъ!“

„Такъ отсе винъ“, каже Петро, „и сестру й матирь покынувъ для тои Чорной горы?“

„Мы, бгате, въ його пыталы: „Якъ же ты зоста-
„вивъ свою матирь одну зъ дочкою пры старости?“ —
„Що“, каже, „козакови матирь? Наша маты — вѣйна
„зъ бусурменама, наша сестра — гостра шаблюка! Зоста-
„вивъ я йимъ грошей, буде зъ йихъ помы живи; а
„Запорозця Господь сотворивъ не для запичка!“ Отта-
кый хымерныкъ!“

Такъ распытуючысь да розмовляючы, и не счу-
лысь, якъ настала обидня година. Колы жъ саме передъ
обидомъ шастъ у хату Васыль Невольныкъ, и веде за
собою слидомъ Божого Чоловика. Ходывъ старый на
торгъ у Кыивъ, да попавшы тамъ десь дидуся, заразы
и загарбавъ його до Череваня: дуже кохавсь Черевань
у його спивахъ. Якъ же то зрадивъ Васыль Невольныкъ,
побачывшы Шраменка! То съ того, то зъ другого боку
зайде, розставыть руки, здвыгне плечыма и, бачця,
самъ соби не йме виры. И Божый Чоловикъ зрадивъ:
ажъ усмихавсь, облапуючы кругомъ Петра.

Ще веселѣйшъ почалы тогди гомониты. Леся щебе-
тала якъ ластивочка. Посли обида Божый Чоловикъ
игравъ и спивавъ усякыхъ поважныхъ писень. А якъ
одходывъ изъ Хмарыща, Петро положывъ йому гаманъ
грошей за пазуху на выкупъ невольныка зъ неволи,
за пан'отцеву душу.

„Смутно мини“, каже Божому Чоловикови, „що въ
свити ледащо пануе, а добре за працю й за горе не
мае жадной награды!“

„Не кажы такъ, сынку“, давъ одвить Божый Чоловикъ: „усякому есть своя кара и награда одъ Бога“.

„Якъ же? каже Петро, „Иванецъ ось вознесеть, а Сомко зъ моимъ пан'отцемъ гиркую выпылы?“

А Божый Чоловикъ: „Иванця Богъ грихомъ уже покаравъ; а праведному чоловикови якои треба въ свити награды? Гетьманство, багатство, або верхъ надъ ворогомъ? диты тилько ганяютця за такымы цяцькамы; а хто хоть разъ заглянувъ черезъ край свиту, той иншого блага бажае... Немае, кажешъ, награды! За що награды? За те, що въ мене душа лучча одъ моихъ бльжнихъ? А се жъ хиба мала мылость, що моя душа сміе и зможе таке, що иншому й не прыснутця?... Иншый ище скаже, що такый чоловикъ, якъ твій пан'отець, уганяе за славою! Хымера! Славы треба мырови, а не тому, хто славенъ. Мыръ нехай навчаецця добру, слушаючи, якъ отдавалы жызнъ за людське благо; а славному слава у Бога!“

Такъ проглаголавшы, замовкъ старый, похылывъ голову, загадавсь. И вси задумалысь одъ його речи. Дали поклонывсь Божый Чоловикъ на вси стороны и пійшовъ съ хаты, почепывшы черезъ плече бандуру.

А Петро и оставсь у Череваня, якъ у свойй семьи. Черевань йому ставъ теперь за батька, а Череваныха за матирь. Сталы жыты вкупи любязно да прыязно,

Ну. сього вже хоть и не казаты, що, зождавши пивъ-року, чи що, почалы думаты й про весилля. Ище не гараздъ и весна розгулялась, ище й вышенькы въ саду въ Леси не одцвилысь, а вже Петро изъ Лесею и въ пари.



Сього вже хочъ и не казаты, що, зождавшы пивъ року, чи що, почалы думаты й про весилля. (Ст. 248).

Такъ-то усе те лыхо мынулось, мовъ прыснылось. Яке-то воно страшне усякому здавалось! а отъ же, якъ не Божа воля, то йихъ и не зачепыло. Се такъ, якъ отъ инколы схопытця заверуха — громомъ гримыть, витромъ бурхае, свиту Божого не выдно; поламле старе дерево, поыворочуе зъ кориннемъ дубы й березы: а чому указавъ Господь росты й цвисты, те й останетця, и красуетця весело да пышно, мовъ изъ-роду й хуртовыны не бачыло.

Конецъ Чорній Ради.

Слова изъ „Чорной Рады“, которы не всяке чувало, або читало.

лаватась — голубая шелковая матерія.

роварь — пивоварня.

времій — *крутитъ веремія* — дѣлать быстрыя атаки.

амалыкъ — задняя часть шеи.

аркебузь — arquebuse, пищаль, самопаль, мушкетъ.

эваль — хамъ, мужикъ.

орлаха — яма для храненія хлѣба въ зернѣ.

ороризьба — горельефъ, выпуклая рѣзьба.

ержавський — помѣщичій.

зыгарокъ — часы.

илованне — заборъ.

божке — разнаго рода хлѣбъ.

ажанокъ — короткій, легкій кожихъ.

армазынь — красное сукно, а также и красная шелковая матерія.

тряга — стропила для будки, или шатра; шатерь.

якъ — граничный знакъ на деревѣ, или граничный столбъ.

иновка — сосудъ въ формѣ кружки.

рениты — бранить, перебирать бранью все до корней.

рмыга — ярмо, иго.

на — темница, или мѣсто ареста, хотя бы и снаружи зданія.

Куною карали иногда, прико-

вывая руку къ стѣнѣ у колокольни, для позора.

Кушнирь — кожевникъ.

Лазня — баня.

Луданы — *жупаны луданы* изъ блестящей матеріи жупаны, или жупаны, расшитые золотомъ. Несторъ упоминаетъ объ *епанчыхъ*, или *жупаныхъ лудыхъ*.

Мысьюрка — желѣзная шапка съ кольчатою сѣткою, которая накидывалась на лицо, шею и плеча.

Мыто — мытъ, денежный сборъ въ казну на дорогахъ, мостахъ и переправахъ.

Мономахыя — рукопашный бой, битва поединками, какъ у Гомера въ Иліадѣ.

Мугыръ — мужикъ, грубый челоуѣкъ.

Оборы — веревочки, или ремни у лаптей.

Обушокъ — чеканъ; иначе по-малороссійски — *келепъ, келепокъ, келепецъ*.

Огырь — жеребець.

Одсичъ — отпоръ, отраженіе.

Ознаймоваты — объявлять во всеуслышаніе.

Опасыстый — жирный, плотный.

Опентаты — опутать, отуманить голову.

Пильга — облегченіе.

Пирначъ — булава съ перьями, то есть составленная изъ металлическихъ дощечекъ, которыя назывались перьями.

Предся — предъ симъ бывшая.

Промантачить — промотать.

Прочане — богомольцы. Слѣдовало бы говорить *процане*, отъ слова *проща*, которое происходитъ отъ слова *просить*.

Псяюха — псиное ухо.

Пятро — этажъ.

Радоваты — быть на радѣ, держать совѣтъ.

Райця — совѣтникъ въ ратушѣ, или магистратѣ; отъ слова *раять* — совѣтовать.

Рипка — *кубокъ - рипка* напоминаетъ своею формою рѣпу.

Розродытысь — разсвирѣпѣть.

Рондъ — конскій нарядъ.

Сагайдакъ — лукъ.

Саета — Англійское сукно.

Салогубъ — мѣщанинъ, торговецъ, въ бранномъ смыслѣ.

Сердюкъ — тѣлохранитель.

Серпанокъ — кисея.

Сысюрка — то же, что и мысюрка.

Скарбныця — казнохранилище.

Скнарость — скаредность, скудость.

Слушный — законный, должный.

Солуха — сажа, а также и дымоволокъ, или труба.

Страхополохъ — трусь.

Стужка — плетеная кадушка или коробка.

Сугакъ — сайгакъ, дикая степная коза съ бѣлыми рогами.

Сукня — платье.

Сурмачъ — трубачъ.

Таця — поднось.

Тылягы — латы изъ желѣзныхъ, или серебряныхъ дощечекъ, нашитыхъ на бархатѣ, сукнѣ, или кожѣ; то, что у Великороссіянь *куяки*.

Трактоваты — угощать.

Трунокъ — напитокъ, отъ Нѣмецкаго *trinken*.

Трямки — перекладки подъ потолкомъ.

Ушулы — столбы въ заборѣ.

Усхнуты — утихнуть.

Халепа — бѣдствіе.

Хымородныкъ — колдунъ.

Чатоваты — дѣлать рекогносцировку, т. е. разъѣзды для наблюденія за непріятелями.

Чупрындыр — здоровякъ съ большимъ чубомъ, или *чупрыною*.

Чура и джура — слуга; отъ Турецкаго *джяуръ*, что значитъ невѣрный, — такъ какъ джуры были у Турокъ рабами.

Шатно — въ парадныхъ одеждахъ; *шата* — одежда.

Шермыцерыя — фехтованье.

Шыкъ — строй.

Шыковаты — строить воиновъ въ боевой порядокъ.

Шыритвасъ — срѣзь, невысокая кадь.

Шлыкъ — шапка.

Шпигъ — шпионъ.

Ясырь — плѣнъ, въ собирательномъ смыслѣ; извѣстное число плѣнниковъ.

Найважнійши замичени друкарські помылкы.

| <i>На якій сторонѣ.</i> | <i>Въ якому рядку.</i> | <i>Надруковано.</i> | <i>Треба читати.</i> |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 19 | 1 знизу | Шмаръ | Шрамъ |
| 49 | 10 зверху | костелы | костьолы |
| 57 | 10 " | шинкари | шынкари |
| 63 | 13 " | Батко | Батько |
| 88 | 1 " | козакы | козакы |
| 148 | 5 " | спокойнійши | спокійнійши |
| 178 | 22 " | пулумыскывъ | полумыскывъ |
| 193 | 9 знизу | Рады | Ради |
| 193 | 16 зверху | срибными | срибными. |

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

DATE DUE

~~APR 23 1992~~

DEC 17 1991

~~OCT 5 1993~~

NOV 17 1993

~~NOV 16 1993~~

NOV 17 1993

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 00830 7095

Filed by Preservation NLS: 1994

**DO NOT REMOVE
OR**

M  **D**

